

# ФЕЛИКС РОЗИНЕР ТРИПТИХ



## ТРИПТИХ

**Felix Roziner**

**TRIPTYCH**

**Overseas Publications Interchange Ltd  
London 1986**

**Феликс Розинер**

**ТРИПТИХ**

**Overseas Publications Interchange Ltd  
London 1986**

**Felix Roziner: TRIPTIKH**

First Russian edition published in 1986  
by Overseas Publications Interchange Ltd  
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

Copyright © Felix Roziner, 1986  
Copyright © Russian edition Overseas  
Publications Interchange Ltd, 1986

**All rights reserved**

No part of this publication may be reproduced,  
in any form or by any means, without permission.

**ISBN 0 903868 98 9**

Cover design by Andrzej Krauze

Printed in West Germany

# **ПОСМЕРТНАЯ ХРОНИКА**

*(Послесловие к мемуарам)*



# I

Жила она с интересом, с удовольствием, с любовью. Поразительно было то, что ни на чем, казалось бы, не основанную веру в непрестанное торжество разума, справедливости, добра и красоты она несла без тени сомнения сквозь все свои без малого семь десятилетий. Когда она приходила в восторг от чего-то рассказанного или прочитанного, когда она от шутки или анекдота до беззвучия остановившегося дыхания смеялась, охая потом и вытирая платочком слезы, — это ее поведение напоминало что-то ушедшее давным-давно и существовавшее, может быть, лишь в русских романах: возникал перед глазами образ доброй и простодушной, милой и наивной девушки-гимназистки, которую так легко обмануть розыгрышем и так же легко глубоко и грубо обидеть; или гувернантки, взятой из хорошего бедного семейства; или курсистки-народницы; или сельской учительницы. Она и вправду начинала свою жизнь воспитательницей детдома в годы разора и голодухи времен гражданской войны; была потом и студенткой, училась живописи,



стала искусствоведом; по заводам Москвы, выполняя идею Максима Горького, записывала для истории рассказы рабочих о старом режиме и о том, как царя прогоняли; работала всю жизнь в музеях — и в нынешнем Пушкинском (прежде — Изящных искусств), и в Третьяковке, и в Историческом — реставрировала то западную и отечественную живопись, то древнерусские иконы. В Ярославле, Загорске и Переславле-Залесском в церквах раскрывала фрески, чистила иконостасы, укрепляла, обновляла, вызывала к бытию из тлена и праха то, чему уж и места на нашей земле не оставалось...

Обо всем этом написала она талантливо и наивно, а потому — хорошо написала в "Былях и небылицах", которые лежат теперь в рукописном отделе Государственной библиотеки, сохраняя во времени ее имя. О жизни своей она сама написала. Мне осталось написать о ее смерти.

## II

Но, я думаю, — что писать о самой-то смерти? Нечего. Потому что миг ее никому неведом, даже — кто знает? — и умирающему, наверно. Только был я около нее за двое суток до кончины и явственно видел, как смерть стояла уже между мною, во всю живым пока что, и ею — уже глубиной своего существа стоявшей там, за гранью. Не было уже в ней, в самом дыхании и движении ее, ничего от той жизненной непринужденности, какая была так свойственна ей и какая, на самом деле, и есть главное свойство всего живого, когда любая мелочь жизни — перемещение взгляда, шевеление губ, слабый жест, смена голоса — все производится само собой, изнутри, тем горящим в организме реактором, что рождает жизненные силы. Не было уже этого всего: стоявшие неподвижно глаза обратились ко мне

медленным поворотом, направляемые специальным усилием воли; и подобье улыбки сделала она, заставляя нужные мышцы на лице сдвинуть в стороны края иссушенного рта; полупшепотом-полупаузами нанизала слог за слогом, и для каждого вобрала и вытолкнула особую толику воздуха. Когда же я посадил ее на постели — точнее, на разложенном комбинированном кресле, прислонил спиной к торцу стоявшего в головах книжного шкафа, и она попила из тяжелой керамической кружки чаю, то сил у нее ушло на это Бог знает сколько. Стало мне страшно, что вот тут-то, сейчас, при мне и погасится ее свечечка... За час до того сыну надо было уйти на работу; внук четырнадцатилетний чуть позже, взяв велосипед, тоже ушел; теперь и мне бы пора покинуть ее: вскоре ждали меня в одном очень важном учреждении, а еще, к вечеру, собирался я поспеть на другое мероприятие, тоже очень важное... По счастью моему, попросила она уложить ее, повернуть на бок к стене, чтобы удобно ей было уснуть. Из последней капли ее истомившегося сознания донеслось до меня далекое, как через две рамы вагона отошедшего от перрона поезда: "...па...и...бо...то...ве...та...ния".

### III

Было это третьего апреля. А пятого, к вечеру, позвонил ее сын: умерла. Когда же? — Час назад. — Тяжело ей было, мучилась? — Нет, не мучилась. В последний день, правда, боли появились, она постанывала, потом потеряла сознание... и вот... так и умерла. — Угасла. — Да... — Вот... Верно говорят, святым... (я поправился) — добрым людям... (хотел сказать: "Бог посылает") смерть посылается легкая... — Да, говорят так...

Умерла в пятницу вечером, а на воскресенье утром уже были назначены похороны. Мы удивились: ну и быстрота! За один день, да к тому же нерабочий, все оформлено, все заказано, место на кладбище подготовлено! Значит, в противоположность всему остальному, наш сервис в том, что касается смерти, действует великолепно!.. Но тогда мы не знали еще, как он работает, этот сервис...

Накануне воскресного дня испортилась погода. До того недели две было солнечно, днем доходило до пятнадцати — сухая, ясная, без бурного таяния весна, казалось, установилась надолго. Но вот барометр зашпешил вниз, небо затянуло рыхлой серостью, временами стало моросить, подул ветер — холодный, пронизывающий. От этой, верно, резкой перемены, а еще от того, что будильник с вечера неаккуратно поставили и он разбудил слишком рано, в воскресенье вставали с головной болью. Поспешно поели, оделись во что-то незначашее по цвету (положенной черной одежды не нашлось), заехали на рынок за цветами. Т. взяла нарциссы, мне приглянулись какие-то грустные, коротконогие букетики плохо знакомых нам лесных весенних цветов — не то розовато-синих, не то сиренево-фиолетовых с желтой серединкой. Пустые автобусы быстро довезли до места, и оказалось, что до назначенных одиннадцати оставалось еще около часу.

Решили постоять в соседнем подъезде, подождать ребят — Ю. и С. — и подняться наверх всем вместе.

Промерзшие, мы отогревались постепенно. Стояли там минут пятнадцать-двадцать. Дверь подъезда была в передней стенке эдакого бетонного кубика, приставленного к плоскому фасаду здания; в боковых же стенках кубика имелись окошки, сквозь них просматривались такие же кубики с окнами, то есть соседние подъезды. Мы видели, что в ее подъезде тоже стояли люди — несколько старушек совсем не местного вида, а, пожалуй, "арбатского": береты,

старомодные гребешки в седине и не истребленная временем печать культуры на лицах. Старушки держали букеты, перекладывали их из руки в руку, топтались вокруг друг друга, затем разом скрылись — прошли к лифту.

## V

Мы, меж тем, говорили о сыне. Хороший ли у нее сын? Мы его почти не знали. Вроде бы, ничего парень, говорил я, но что я в нем почувствовал — это его неприверженность всему, чем жила его мать и что нас с нею свело в эти последние годы: он, похоже, вовсе был чужд искусству. И дело не в том, что не знал он чего-то, что так хорошо знала она и что хотели знать мы; он, почувствовалось мне, находился вне круга радостей, страданий и раздумий, связанных не столько, может быть, с какими-то определенными произведениями живописи, литературы и тому подобного, а, скорее, связанных с судьбой искусства вообще. Мы почему-то оказались больны от того, что искусству сейчас, в эти современные нам дни — больно и плохо, и от этого нам тяжело, как если бы переживалась нами судьба любимого человека. Эти церкви разрушенные, которые она восстанавливала, и эти иконы, которыми мы вместе с нею занимались в ее комнатухе — ну отчего дались нам они? Станные наши собрания за расчисткой икон были, по-видимому, верным служением чему-то печальному, отошедшему, невозвратному. Здесь, у нее на квартире, был островок, на котором курился жертвенный дым во славу "духа", "красоты", "возвышенного", тогда как пошлость, мелкая суета, гнусность и ложь стучали в сами стены и дверь утлой ее комнатки на последнем этаже новехонького дома. За дверь, судя по всему, никто этого не понимал. Владычила в доме жена дорогого сына — резкая, хваткая женщина, достойная

дочь смоленского полковника КГБ, который, вроде бы, до конца своих дней гордился, что во время о́но посадил не меньше шестисот человек... Невестка ждала смерти Н. И. с завидной уверенностью: еще два года назад в миг острого столкновения она предсказала, что скоро будет спать в собственной спальне, то есть в комнате свекрови...

## VI

Появился в окне автобус — небольшой, без черной полосы, и, видно было через его стекла, — без какого-либо особого места для гроба: весь автобусный кузов, как обычно, был заполнен сиденьями. Но автобус явно предназначался для похорон, и мы заключили, что сыну дали его на службе, чтобы в него усадить провожающих, а катафалк будет само собой. Однако люк в задней стене как раз годился бы для протаскивания гроба...

Вышел шофер — спокойный мужчина средних лет, осмотрелся, пошел к нужному подъезду. Не став больше ждать своих друзей, пошли следом за ним и мы, и у лифта он спросил, здесь ли сто седьмая? — Нам туда же, — ответили мы ему, и мягко подрагивающая клеть понесла нас кверху. На звонок быстро открыли незапертую дверь. В тесноту прихожей, где кроме нас, пришедших, были еще две-три пожилые женщины, из комнат вышел сын, одетый в черный костюм с белой сорочкой — красивый в замкнутости своего узкого лица, очерченного правильно и строго, но и по-восточному мягко. — Машина? Но еще без четверти?.. — глухо и растерянно спросил он шофера. — Договаривались на половину... Не все пришли. — Шофер воспринял это без возражений:

- Если желаете в половину, пожалуйста, в половину.
- Вы уедете или будете ждать?

— Подожду.  
Шофер ушел.

## VII

По двум комнатам, слева и справа от ее дверей, сидели и стояли люди, которые говорили хотя и негромко, но и без особенных приглушенных или расстроенных интонаций — говорили обыденно и обменивались сведениями о том, — как доносилось сюда, в коридор, — что она, конечно, догадывалась, знала, но вот как же это быстро! — как неожиданно! — даже представить невозможно! — такая она была энергичная! О том же говорили и сидящие в ее комнате три арбатские старушки в беретах и пальто: их видно было в открытую дверь, наискосок, у правой стены, где третьего дня оставил я Н. И. лежащей на кресле-кровати. Сын же, закончив с шофером, встал в дверях, и когда мы, уже сняв свои пальто, входили в комнату, там рассказывалось, как она посылала подругам поздравления с недавним праздником и прощалась с ними: — Она, конечно, знала, да? — спрашивали старушки у сына с видимой заинтересованностью-любопытностью, и доверчиво-восторженная удивленность так и поблескивала в их глазах. — Да, знала, конечно. Только не хотела расстраивать. Делала вид. Мы тоже, — с угрюмой вежливостью отвечал он им.

## VIII

Гроб, первым делом заметил я, стоял на том самом раскладном столике, — все, оказывается, в ее узкой комнатке было раскладным! — на том столике, вокруг которого са-

дились мы для работы в продолжении нескольких лет. Под крышкой его, на дне открытого ящика, хранились до сегодняшнего, наверное, утра инструменты наши — скальпели, кисточки, оселок, а также коробочки со старой загустевшей олифой, снятой с икон, банка с воском, всевозможные ваточки, тряпочки, марли. Спирт, масло, нашатырь, одеколон, лаки, пигменты — это хранилось у нас в шкафу. Оттуда каждый раз все доставалось и тоже подавалось — ставилось на стол по мере надобности. Заканчивая работу, прилежно складывали все в прежнем порядке — что на шкаф, что внутрь ящика. И стол снова складывался и пустел.

Теперь же стоял на нем гроб с ее телом. И самого-то стола — такого узкого — вовсе не было видно под гробом, только тонкие ножки изящно утыкались в пол. Не в пол, вернее, а в какие-то обернутые бумажными салфетками бруски: тонкие, остроконечные ножки могли бы продавить линолеум, впечатать в битум под ним следы свои навсегда, и вот, побеспокоились хозяева сделать подкладки, чтоб этого избежать: так поняли мы назначение подкладок уже потом, задавая себе вопрос, не ритуал ли это — не ставить ножки прямо на пол? А может быть, ритуал? И мы зря наговариваем? Ведь никто из нас ритуала не знает...

## IX

Лицо ее помещалось близко к окну, среди всего вокруг происходящего одно только это лицо было зримым местом пиршества смерти. Победоносная жуткая тризна распада праздновалась на нем. Оконная приоткрытая створка немного покачивалась от сквозняка, и на лице перемещались полосы и пятна теней — и это шла работа кисти или резца умелого мастера: скрадывалось, убиралось как будто все ненужное — ненужное для жизни; оставлялось нужное для

смерти: заострившийся, почему-то чуть вбок запавший нос; ряд зубов; прядь седоватых у корней и крашенных выше волос...

Присоединили к уже лежавшим в гробу и наши цветы. Стояли молча, смотрели. Кто-то из мужчин спросил сына, не пора ли? Тот ответил, что нет еще Ю. и С., надо ждать. Я спросил, та ли это машина, которую заказали из бюро? — Та самая. — Почему же нет места для гроба, ведь там только ряды кресел, как в обычном автобусе? — Не может быть, что-то не так.

## X

Я спустился вниз, к автобусу. Шофера не было, через стенки заглянул в кузов. Нет, в самом деле, куда же мы поставим гроб? На пол? Но уместится ли он в проходе? Да и разве бывает так, чтобы гроб стоял на полу? Катафалк — это обязательно возвышение, постамент, что ли, для гроба. А вдоль него, по обе стороны — скамьи, и сопровождающие, хотя и сидят, но все же обращены лицом к покойному, и во время его последней поездки как бы совершают последнее бдение, вахту, несут караул почета около тела умершего...

Вернулся в квартиру, рассказал об увиденном, бойкая женщина-соседка уверила, что гроб войдет, что можно подставить табуретки... С тем и согласились молча.

## XI

Остановилась около нас с Т. одна из женщин и почти радостно заговорила о том, как Н. И. нас любила, как рас-



сказывала о нас. — Хорошо, что воспоминания успели отдать в библиотеку, она очень была довольна. Это было ее последним делом. И картина тоже. Картину она хотела отдать в Переславль, в музей.

Да, картина... Огромное полотно, два на два метра, которое не могло влезть в комнату и было сверху несколько подрезано, стояло здесь же, косо расположенное в простенке от двери до боковой стены. Картина казалась еще одним зеркалом, таким же, как и то, музейной работы зеркало, что было прикрыто сейчас простыней. Картина и вправду стала зеркалом ее верований, ее мыслей и привязанностей, и вложила она, наверное, бездну труда и своих последних сил в эту свою последнюю работу. Изображала картина Ленина и группу детей, беседующих под густой зеленью огромного дерева в каком-то глухом и, я бы сказал, мрачноватом для этой светлой идеи лесном местечке, — возможно, в парке Горок или Сокольников...

## XII

Женщины поблизости от нас начали что-то говорить сыну покойной по поводу платка, которым была покрыта ее голова. Он, как я понимал, хотел, чтобы платок сняли, бойкая же соседка доказывала, что надо оставить покойную в платке.

— Не носила она платка, — проворчал он.

Женщина — та, что говорила нам о картине, судя по всему, близкая подруга Н. И., примирительно и опять чуть ли не весело объяснила, что сын хочет видеть мать такой, какой она была. Нет, возразили на это, полагается ей быть в платке.

— А, да мне все равно, — махнул рукой сын и отошел.

— Ну, если полагается по обряду, — улыбнулась подруга

и с некоторым недоумением снова обратилась к нам: — Она, по-моему, никогда не была верующей? Ведь так, вы не знаете?

Я пожал плечами. Неужто ей, подруге, оставалось неизвестным, что Н. И. — еврейского происхождения?

— Сама-то она все обычаи и праздники очень хорошо знала. Сколько она церквей разрушенных спасла! — с гордостью продолжала женщина. — Она народу очень много оставила! — И довольная этими красивыми, правильными словами, передвинулась куда-то с глаз...

### XIII

В дверь позвонили: пришли Ю. и С. Как и мы, мучаясь, торопясь и волнуясь, оба снимают пальто, идут к гробу, кладут цветы, стоят, смотрят.

Теперь уже близилось к выносу, и я еще раз спустился к автобусу. Шофер был в кабине.

— Будем сейчас спускать гроб, — сказал я ему. — Но ваша машина... Она приспособлена? Что, разве на полу будет?..

— На полу, — подтвердил шофер.

— В проходе? Разве умещается? — все еще сомневался я, но уже с вялостью, зная, каков будет ответ. Он успокоил меня окончательно.

— Ну ладно, тогда покомандуете, — попросил я.

— Спускайте, спускайте, не беспокойтесь.

### XIV

Я уже и не беспокоился. Поднялся наверх, сказал сыну, что шофер на месте.

— Ну ладно, — говорит он, — пожалуй, пора. — Оглянувшись назад, бормочет что-то, я расслышал слово "один" и тяну С. за собой. Не рассчитал ли оставшийся в комнате, или от сквозняка, но дверь за нами неприлично громко громыхнула.

Что он там говорил ей? Поцеловал ли? Подумал ли о чем? Обещал что-то себе на будущее, в память о ней? Вспоминал ли о прошлом сын, когда был еще с нею один на один, и житейское непонимание, а потом и жена еще не успели разъединить и отодвинуть от него материнскую душу?

И полминуты не прошло — он уж отворился и сказал в коридор: "Теперь можно".

## XV

Мужчины принялись за дело.

Новые жилища не рассчитывают на то, к примеру, чтобы в них можно было вносить рояль: кому нужен сегодня в квартире рояль? Не рассчитывают и на то, чтоб выносить покойного. Да и если рассудить здраво, жилье — оно служит только тем, кто в нем прописывается в момент вселения, на кого выдается ордер райжилотделом. Было для этой квартиры предназначено четверо — на них она и рассчитана. А если учитывать, что пятый и даже шестой здесь может народиться и ему понадобится место; или, напротив того, первый умрет и его понадобится выносить, — да если все это учитывать, как тогда строить? И дорого, и неразумно.

В двери гроб не проходит. Так что, кому для того же пригодится, можете сделать, как мы: свернутыми в жгуты простынями привязали покойницу к гробу — на уровне груди, где руки сложены, и на уровне бедер. Пронесли гроб

сколько можно до упора в коридорную стенку и стали заваливать — боком, боком, и подавая вперед вершок за вершком. Голова при этом клонится в сторону, однако тут уж ничего не поделаешь, потому что — дай Бог одно: не уронили бы гроб, не выпала бы покойная!.. И знаете — при известной смелости, то есть при отсутствии не то что бесполезного, но даже мешающего в этом случае *уважения к смерти*, — все можно сделать удачно, со сноровкой, и довольно скоро вынести гроб на лестничную площадку. А голова покойной, едва тело вновь повернулось спиной к земле, приняла почти прежнее положение, разве что несколько сохранила наклон к плечу. Однако и это, наверное, было неважно, потому что по узким маршам предстояло пройти одиннадцать этажей вниз, и мы, мужчины, так и эдак перемещались вдоль гроба, принаравливаясь, берясь, указывая друг другу, где и как лучше, меж тем как все это — и гроб, и мы с ним вместе — будто влекомые силой его тяжести вниз, по наклону лестницы уже уходили ниже и ниже. Дошло до первой площадки и, быстро решив, кому держать, кому забегать вперед, отпуская и перехватывая — стали разворачиваться — для чего пришлось воспользоваться единственной возможностью: приподнять гроб над перилами. Труба мусоропровода и трубы отопления то и дело ударили в спину и в локоть, задевали о гроб, но уже спустились на этаж, на два и на три; отдохнули, поддерживая ношу на перилах; протиснулись еще несколько маршей, опять приостановились, кто-то (все-го мужчин было шестеро) подхватил, кто-то отошел, затем вновь брались, — и я обнаруживал, что незаметно для себя оказывался то впереди, то в ногах, то сбоку, то в головах — все происходило споро, словно и вправду гроб сам собой двигался, а мы только были при нем. Вот бы не только в минуту смерти человеческой, а всегда бы люди так ладились, — пришло на ум.

Но вот уже и улица, и две колченогие табуреточки на асфальте. Поставили на них гроб осторожно, распрямились. Детвора подбежала, и низко, прямо в лицо, дети стали рассматривать мертвую; дождавшиеся привычного зрелища местные бабы, которые сидели до того на лавочке у подъезда, поднялись и смешались с провожающими. Вынесли венок, взяли гробовую крышку. Отвязали простыни, и кто-то, свернув плотно, положил их в ноги, под покрывало. Шофер сказал: "Ну, закрывайте!" — и умершую впервые закрыли от людских взглядов. Зев задней дверцы автобуса был откинут уже кверху, и когда подтащили мы гроб, я увидел то, чего не смог обнаружить, когда заглядывал в окна: пара задних сидений была развернута вдоль стенки, и в хвосте автобуса проход поэтому был шире обычного, так что гроб тут, действительно, мог уместиться. Умещался он только-только, и конечно же, на полу — табуреток никаких, сказал шофер, не надо. Едва стали заносить в машину, какая-то женщина, как заметила Т., поспешно подбежала к табуреткам и положила их на земле на бок, — видимо, исполнила ритуальное действие, нам незнакомое вовсе.

Гроб вдвинули, жестко прогремел венок, и вертевшийся около нас мальчишка громко, будто хорошо отвечал на уроке, произнес: "А эти цветы — искусственные!" Он и вправду, этот венок, гремел, кажется, не железным своим каркасом, а дикой яростью анилиновых красок.

Стали рассаживаться в автобусе. Пропуская мимо себя женщин, я увидел, что жена сына не идет, стоит на месте. Не едет, значит, на похороны. Тут вспомнилось мне, что нет здесь внука. Наверно, устали куда-то, чтобы не видел мертвую бабушку, пощадили детскую душу. Но в четырнадцать-то лет — надо ли ограждать от *такого*?

## XVII

Случайно или нет, Т. села на задних креслах, лицом к гробу; войдя, и я сел рядом. Напротив, по другую сторону гроба, сидел сын и с ним один из незнакомых мне мужчин.

У моих ног лежал на крышке венок, и меня вдруг разозлил вид белого картонного ценника, который нагло смотрел из стружечной листвы. Я дернул за проволочку, которой была укреплена картонка, но проволочка оказалась крепкой, перекрученной и зажатой металлической пломбой. Тогда я схватился за ценник, оторвал, и, прежде чем сунуть его в карман, пробежал глазами написанное на нем: "Специализированный трест бытового обслуживания ф-ка венков, цветов и других изделий ВЕНОК размер 110 см Цена 10 руб Веночник № 12".

Когда автобус двинулся и стало потряхивать и раскачивать, венок со скрежетом пополз с крышки. Уложил его сбоку и красную ленту с надписью "От детей — любимой маме" подоткнул, чтобы она на полу не грязнилась.

## XVIII

Поехали по Аминьевскому шоссе, потом свернули к Очакову, проехали деревенской улицей и сразу же оказались на проспекте Вернадского. Ехали быстро. Переговаривались, поглядывали в окна. Я разглядывал затею гробового художника, постаравшегося охрой и белилами разрисовать под дерево само же дерево... Вдоль крышки тянулась трещина — уже успевший проявиться из-под краски широкий провал между двумя досками. Покатали по Внуковскому шоссе — мимо знаменитого, расхваленного газетами на все

лады нового поста ГАИ, который, чтобы правительство спокойно могло проноситься к аэродрому и обратно, оборудовали не то телевизорами, не то радарам, не то какой-то другой электронной палочкой-выручалочкой...

Неожиданно с шоссе свернули влево, и тут уж я стал смотреть в окна внимательно, чтобы запомнить дорогу на кладбище.

## XIX

Поворот этот находился, как я прикинул, километра через два после кольцевой дороги. Вдруг открылся какой-то убогий, не подмосковный пейзаж: миновали по петляющей бетонке несколько деревушечных домиков, оставшихся по правой стороне, и выехали на ровные пустые земли — бурые, в непросохших лужах, с клочьями прошлогодних безжизненных трав.

Если бы я был сказителем народным, вроде Рябинина, я сказал бы, что приехал я во чисто-поле; а был бы я символом времен Беклина, как Андреев, сказал бы про остров мертвых. Но не все ли мы приверженцы реализма — социалистического, конечно, потому как не дети ли мы века своего и страны своей, и не этой ли землей вскормлены?

Мы проезжали московской клоакой.

## XX

Я не видел, по малости тех моих лет, военной мясорубки (может быть, доведется еще). Но помню я военные фотографии в газетах, помню военные кинохроники, где под звуки

симфонической музыки показывались русские поля с чернеющими на снегу трупам, с валяющейся по сторонам дороги разбитой техникой... Всплыло это вот теперь в памяти, когда увидел я творящееся вокруг. Только не оставалось уже снегу, и все, что разбросано было на поле, выглядело неопрятно-промокшим, осклизлым, будто разложившимся до потеков...

Ткнувшись носами в податливую почву, косились по обочинам грузовики; надвигались сарайчики из ржавого железа и скрывались, беззвучно разеваая провалы дверей; вагончики на пустых осях с забитыми фанерой окнами неподвижно ехали в никуда. Фигуры, мало похожие на людские, в отвратительных залосненных одеждах, с темными лицами, в позах то склоненных к земле мародеров, то с воздетыми к небесам руками проповедников, возникали тут и там у сараев, у машин, у вагончиков; вороны лениво перелетывали низко над землей, сливаясь с нею. И повсюду, сколько хватал глаз, полнилась земля жирным изобилием отбросов городской человеческой жизни: слипшиеся кучи разнообразного мусора покрывали почву так, что кое-где она едва ли не навсегда исчезала под слоями свезенной сюда всяческой дряни. Похоже, что это были застарелые, уже исторически сложившиеся слои. То же, что привозилось в железных баках на машинах и сваливалось по обочинам, подлежало, судя по всему, разбору, пересмотру и сортировке, и время от времени являлись взору кучи отделенного и сваленного вместе тряпья; холмы бумажного месива; горки из деревянных планок и ящиков; проблистала пирамида больших селедочных банок, за которыми так душатся в очередях хозяйки; и, как работа поп-мастера, промелькнуло нагромождение матрасных пружин. Всему тут было место, все было нужно, так как все тут снова готовилось на дальнейшую потребу, и люди, которые встречались на нашем пути, занимались своим делом — работой, хотя и грязной, но необходимой.

Сколько таких клоак вокруг Москвы? Глупо предполагать, что эта, южная, единственная на весь огромный город-



ской организм. Есть, конечно, и другие такие же, где-нибудь и к западу, и к востоку, и к северу — о чем тут говорить. Для нашей людской жизни нужны все эти клоаки — мусоропроводы, свалки, помойки и кладбища.

На миг я упустил из сознания, что въезжаем-то мы на кладбище.

## XXI

По этой петляющей среди поля неширокой бетонке продвигались мы уже не столь быстро, как по Внуковскому шоссе. Мы шли в непрерывной почти веренище машин — легковых такси, маршруток и небольших автобусов, подобных нашему. Точно такой же поток стремился навстречу, и весь этот транспорт был заполнен народом, которому так или иначе вышла необходимость побывать в этот день на кладбище. Если бы знал хоть кто-нибудь из нас обычаи, то, наверное, нашел бы объяснение тому, отчего так много людей стремилось побывать на кладбище в этот пасмурный день, когда Православная Церковь, по необычному стечению дат, отмечала одновременно два годовых весенних праздника — Благовещение и Вербное воскресенье. Быть может, в какой-то из праздников или всегда в праздники кладбище усиленно посещается? Так или иначе, но лишь только свалочные сооружения стали редеть, впереди увиделось необычайное людское скопление. Поле в той стороне чуть-чуть приподнималось, и на фоне белесого неба издали открылась панорама какого-то брожения, толчения на месте множества фигурок, каждая из которых силуэтиком головки и плеч напоминала верхнюю часть муравьиного насекомого, вставшего на задние лапки. Всего же остального — от груди или пояса, туловища и ног увидеть было невозможно за какой-то пестро-лоскутной, мельтешащей в глазах то красным, то бурым, то зеленым неровной полоской, которая пролегал

над землей. Что-то подобное видел я недавно на вильнюсской толкучке, удаленной за город, в поле: там было такое же среди пустоты копошение голов, производившее издали то же впечатление из-за множества цветастых одежек, которые держали на руках перед собой.

Но по мере того, как подъезжали мы ближе, пестрая полоска постепенно проявлялась отдельными деталями, и можно было догадаться, что бурые пятна — это бугорочки земли; что красное и зеленое — ленты и ветки таких вот веночков, какой везли мы с собой; что из-за этих единообразных бугорочков люди видны лишь частично, что они едва ли не в шахматном порядке расположились в этом бугорчатом мире, и что нам предстоит сейчас влиться в их массу и стать такими же копошащимися среди набухшей глины насекомыми.

Мы подъехали к нескольким вагончикам и сараям той же тягостной архитектуры, как и те, что остались только что позади, на свалочном поле. С десятков машин стояло тут, остановились и мы. У края дороги, рядом с битым кирпичом и кучей гравия, была воткнута железная табличка с поспешными черными буквами "Хаванское кладбище".

## XXII

— Не выходите, — посоветовал шофер. — У кого документы — идите в контору и оформляйте. А на место еще надо будет подъехать.

С документами пошел М. — приятель сына покойной. В салоне воцарилась тишина. В пути-то и мотор шумел, и переговаривались, кое-кто довольно громко; теперь одно гнетущее молчание говорило — красноречиво говорило, как все были подавлены окружающей картиной.

Снаружи, поодиночке и группами, деловито сновали лю-

ди, выбегали с бумагами, тащили железные таблички, садились в машины и отъезжали, освободившееся на стоянке место занимали вновь приехавшие. В одном из вагончиков отворялись дверцы, впуская и выпуская рабочих, измазанных в глине по воротник, в другой устремлялись заказчики. На каком-то из сараев была прибита доска с надписью: "Бетонный цех".

Ждали долго. Наконец кто-то обрадованно сообщил, что пошли уже к передней машине — значит, скоро и нам оформят. И верно: торопливой походкой прошел М., уже держа обмазанную алюминиевой краской табличку, скрылся где-то впереди, потом вдруг ввалился в двери: "Пятьдесят девятый участок!" — объявил он.

Заработал мотор. Машина по большой дуге стала огibtь кладбище. Перед глазами, будто на киноленте, которую режиссер ускоренно прокручивает сквозь монтажный экранчик, чтобы вырезать ненужные куски пленки, замелькали картинки кладбищенского быта. Женщины торговали бумажными цветами. Потянулась какая-то бесконечная очередь — оказалось, на посадку в маршрутные такси. Горки песка и гравия — надо думать, его привезли для "Бетонного цеха" — облеплялись со всех сторон людьми с ведерками и лопатами — они растаскивали материал для могил. Носили воду из кювета, здесь же, стоя в воде, отмывали сапоги от глины.

А вот и могилы начались. Пассажиры нашего автобуса имели уже немало возможностей убедиться, что кладбище это — *новое*, и как только в салоне снова стало шумно от двигателя, начался обмен мнениями и вопросами. Кто-то сказал, что открыли кладбище в прошлом году; кто-то пояснил, что здесь близко микрорайон "Теплый стан" — вон, видите, дома вдали? Одной из женщин очень понравилось слово "обслуживание", в которое она вкладывала, по-видимому, бездну иронического смысла, и очень хотела, чтобы все по достоинству оценили саркастические стороны ее ума, и потому громко повторяла, меняя на все лады интонацию: "Обслуживание! Обслуживание?!. Это — обслуживание!" — и так далее без конца.

Когда остановились, одна из арбатских старушек не вовремя, во внезапной тишине, обронила трясущимся звуком: "Какой ужас!" — и осеклась.

### XXIII

Она, старушка эта, выдала то, что, больше или меньше, охватило нас всех.

Почему — не смерть сама? Почему — не самоисчезновение человека? Почему — не вид, уж если честно смотреть в лицо смерти, — почему не вид омертвевшего тела? Почему именно картина кладбища вселила "ужас" — не в одних только старушек, которым самим вот-вот готовиться к смерти, а и в нас, молодых, от которых, по нашему материальному разумению, смерть далека так же, как и Бог?

Не сумею, наверное, объяснить всего; да и не дано, я думаю, постигнуть суть этого, потому что касаются такие вопросы самой сущности человеческой, вникнуть в которую никто не может. Но только так уж, видно, мы устроены, что способны перенести, понять и даже простить надругательство над жизнью. Надругательство же над смертью — это деяние только в ужас может повергнуть.

### XXIV

Кладбище наше и было самым надругательством. Свалка отбросов: бумага, мусор и тряпье — и трупы. Все свозилось во чисто-поле и отделялось одно от другого: тряпье — у одних вагончиков, банки — у других, трупы — у третьих. С той

разницей, что мусор намеревались пустить вновь в обработку и использование, трупы же почитались здесь бесполезными, и это, наверное, была единственная причина, по которой их закапывали в землю, а не складывали в компактные тюки и не складывали в сараюшки. Была, можно предположить, и другая причина: обычай захоронения, которого привыкли придерживаться живые. Но смехотворно говорить здесь об этой другой причине. Ведь разрешили же люди пограть главный обычай, связанный с похоронами — обычай *уважать смерть*. Почему же, доведя уже себя до ужаса этой кладбищенской картины, не позволить и еще одного шага? Почему, отдав смерть в руки "обслуживания", не позволить "обслуживанию" ну хотя бы уже из дому или из больницы увозить мертвецов, а там пусть делают с трупами, что хотят — пусть бы и в тюки?..

## XXV

Разрытая, разрыхленная, влажная глина горбилась со всех сторон. В глину эту брошены были гробы — ряд за рядом, тесно и близко: боками, ногами и головами, чуть дальше — чуть ближе друг к другу. Над покойными — будто утопленные в глине стремились вырваться из могил и все прыгнули вверх грудью, — образовались бугры, кочки, горбики — повыше и пониже, в зависимости от того, сколько пролежал покойник: над новым — бугор был еще хорошо заметен, а над старым, словно у мертвого иссякли уже силы прогибаться грудью и держать слой глины на себе, — над старым все уже оседало, и горб проваливался. На этих старых участках захоронений, то есть, может быть, осенних, и сустились люди, стараясь спасти могилы от исчезновения. Люди, которые издали напоминали муравьев, и в самом деле выполняли муравьиную работу: так чинят, подправ-

ляют, укрепляют муравейник его жилыцы, когда он оказался поврежден. Потому-то и таскали с энтузиазмом песок, щебенку, воду, сыпали, лопатили, месили, оглаживали — формировали могильные холмы. Люди толклись, задевая друг друга и мешая работе, поскольку проходы между могил были шириной в ступню, и каждый топтал и рушил то, что незадолго до него сделал сосед. Не муравьи — так дети, строящие из песочка, чтобы другие дети тут же сломали постройку...

Повсюду с бугров свисали красные ленты изделия "ВЕ-НОК размер 110 см Цена 10 руб"... Отрешившись от слова "кладбище", легко было принять все это за майскую демонстрацию: толпы людей и — красное, красное, красное, кое-где проглядывают синенькие, желтенькие, розовенькие бумажные цветочки, и чуть больше — бумажная и стружечная зелень. Даже, для полного довершения сходства, пронесли большой портрет в красном обрамлении. Только не из тех портретов. *Тех*, если их несут на кладбище, то не на это, а на Новодевичье.

## XXVI

Из автобуса, подъехавшего раньше, вынесли точно такой же, как наш, гроб.

— Степан! — крикнул шофер. — Отгони свою вон туда, я на твое место встану.

Передняя машина отошла, мы развернулись задним люком к дороге. Шофер открыл дверцы, все стали выходить, загремел и откинулся кверху люк. Через него потянули наружу гроб, я подправил его движение, стоя еще в машине, потом выбежал, чтобы успеть подхватить, когда понесут. По-деловому собранный М. уже указывал, куда нести. Оскользываясь, наступая на скаты могил, протиснулись мимо них на голое окраинное место, которое отвели под сегод-

няшнюю партию захоронений. Тут стояли две сваренные из трубок подставки в уровень стола, и на пару продольных трубок мы и поместили ношу. М. сказал: "Бригадир сам подойдет, вон он". Все посмотрели на полноватого крупного парня с румяным простодушным деревенским лицом, которому неподалеку толковали что-то люди, пришедшие хоронить перед нами. Парень был в сдвинутой на затылок кепчонке, в синеватой спецовке, — он, пожалуй, располагал к себе. Бригада же его была диким сборищем тяжелых личностей мрачного забулдыжного и биндюжного толка.

Вдруг прорезались звуки труб: четверо духовиков — труба, валторна, тенор, баритон — огласили небо янычарской музыкой, в которой по отдельным признакам вспоминался щопеновский марш. Участникам похорон хватило трех тактов, и музыканты, вертя головами, — куда теперь? — гуськом, перебежкой скрылись в стороне.

Мы ждем, пока бригада освободится. Впереди, где только что опускали гроб, происходило что-то веселое: улыбались мужчины-заказчики, улыбались и рабочие. Оказывается, там появилась водка: разливали в стаканы, подносили, опрокидывали в горло, подставляли снова, и это была общая радость — такая простая и человеческая. Один из рабочих подошел со стаканом к краю могилы, осклабясь, наклонился, оттуда высунулась рука и приняла стакан.

Рабочий в немыслимой на этом пронизывающем ветру одной лишь трикотажной майке торопливо прошагал к нам, выхрипнул нервно:

— Прощаться будете?

— Будем, будем, — сказали женщины.

— Что же стоите?! Прощайтесь! — велел он недовольно, тут же отходя. И уже около своих, все недовольный чем-то, что не имело к нам отношения, он густо заматерился.

Открыли гроб.

Она лежала, как уже все ее видели: со свернутой немного к плечу головой, в сбившемся платочке, маленькая, узкая, пожалуй, привычная уже, не пугающая. Женщины стали обирать живые цветы, разложенные вокруг головы и вдоль тела, и я понял, как неудобны оказались мои фиолетовые цветочки-коротышки — их приходилось брать по одному, а они вываливались из рук и падали на землю. Я стоял у ног, и тут взгляд мой упал на возвышение под покрывалом: в ногах покойной положены были простыни, которыми привязывали ее к гробу. Я приподнял покрывало, вынул простыни и сказал: "Вот, остались, куда их?"

— Их не надо убирать, надо оставить. Он хотел, — возразила стоявшая рядом женщина. Говоря "он", конечно, она имела в виду сына. Обращаясь к нему, женщина спросила: — Может быть, еще что-нибудь осталось? Нет?

Сын то ли не понял, то ли не расслышал. Он стоял и смотрел на мать.

— Положите, положите, — сказали мне женщины, и я поспешно, стыдясь своего незнания правил, стал укладывать простыни на прежнее место.

Быстро подошел М. с рабочим. Тот молча приложил лопату по длине гроба, и М. установил ноготь мизинца у края лезвия, рабочий перекинул лопату еще раз — она уложилась вдоль гроба ровно дважды.

— Ну? — вызывающе спросил рабочий. — Что я, не знаю, что ли?

И отправился к своим.

— Эй, забивай пока! — кричал кому-то бригадир. А к нам, беззлобно огрызаясь: "Иду, иду уже!" — и правда, уже подходил еще один рабочий с молотком.

Накрыли покойную крышкой. Теперь уж *совсем*, и самая молодая из всех — двадцатилетняя соседская девчонка —



выразила это "совсем" испуганным "ой!" — когда накрыли и когда застучал молоток.

— На замок рассчитывать нечего, — приговаривал рабочий, загибая какие-то жестяные полоски, — он все равно не держит. Так... Хорошо...

Он каждый раз смотрел, чтобы острие гвоздя не выходило снизу наружу: в этом был для него, по-видимому, свой профессиональный шик, а может быть, и смысл какой-то — не зацепить, например, веревкой за гвоздь, когда спускать будут в могилу...

— Вот так вот, — удовлетворенно проговорил рабочий, закончив.

И беспечно-весело, с фамильярностью, с какой причастные делу указывают профанам: — Вот так и ножками, ножками вперед понесете, в последний путь!

Некоторое время ждали, пока прикажет бригадир.

Отойдя немного в сторону, сошлись впервые за все это время мы вместе — Ю., С. и мы с Т.

— Это кошмар, — проговорил Ю.

И тогда мы кое-что сказали — горько и злобно — о нашей жизни и о нас самих, допускающих вершиться этому кошмару...

## XXVIII

— Пошли!

Окружили гроб, сняли с подставки. Кто-то спросил, не надо ли на плечи? Нет, нет, ответили ему, так понесем.

Единственный среди нас пожилой мужчина догадался заранее выбрать места, где было лучше пройти, чтобы не увязнуть в грязи. Он шел впереди, и действительно, путь был сравнительно сух, но пролегал он между готовыми могилами, а не с краю кладбища, и мы рушили один холм за другим. Взяли бы гроб на плечи — нам бы понадобилось,

может быть, ширины меньше, но поделать уже ничего было нельзя.

— Заходите, заходите! Теперь уж головой придется, раз тут пошли! — направляли нас рабочие.

Мы развернулись, и последние метров пять гроб двигался головой.

— Ставьте! На землю, на землю! — торопили они нас, возбужденные каким-то владевшим ими неизменным ритмом быстрой работы. Опустили на боковую насыпь, и рабочие разом оттеснили всех от гроба.

— Веревки где?

— Да тут, чего орешь!

Поодаль один из них, пьяный, видно, вконец, заматерился не во-время — двое из бригады сразу же осекли его: "Хватит, хватит, ты что?!"

Гроб кантанули чуть влево, чуть вправо, чуть приподняли — веревки зазмеились по сторонам, а из маленькой, неглубокой могилки подтянулся на руках копатель, выскочил на скос и, не глядя, отбросил прочь лопату, задев чьи-то ноги.

— Смотрел бы, человека же зашиб, — сказал ему М.

— Прости! — рабочий отвечал проникновенно. — Прости, друг, не видал...

— Я, я возьму, отойди! — в деловом азарте нервничали рядом. — Поднимай свой конец!

— Заводи!

— В сторону, в сторону! — крикнули нам.

— Отпускай!!

И ухнули гроб! — сбросили, ящик грохнул дном об дно могилы, и ни зазорники, ни щелинки вокруг него не осталось: лишней работы не сделали, тик в тик подогнана могилка, да и неглубока — полутора метров до гроба не будет.

Схватились за лопаты, закидывать начали, и один, не прерываясь, спросил:

— Земельку-то бросать будете?

Поспешно я наклонился, бросил, отошел, топча соседнюю могилу, торопились уж и другие, но щепоти земли в гроб

уже не могли достучаться — лопаты работали и быстрее, и сноровистей, бригадир уже, видя, что яма заполнилась и подгребают теперь для холма, стал указывать: "Тут три лопаты... сюда, в голова... Здесь больше!.."

Свершилось разом — и нет ничего. И сдавило, нахлынуло вновь ощущение свалки — всеобщей, вселенской, бездонной, бескрайней — в которой и я — я, вот он, стоящий, и те, и они, и она — все мы, бедствующие жизнью и смертью своею в этой взлохмаченной глине, на этой замусоренной земле... Не выдержалось что-то внутри, — навернулись слезы, но — "глупо!" — сказал я себе, и разум возобладал — не потекли.

— Живые? Цветы? Живые? Давайте, чего ж вы! — рабочий вырвал у Т. цветы из рук, ткнул в холм, и скоро, так скоро, как нужно было им, рабочим, стали укладывать и остальные цветы, прилаживать венки, втыкать железную дощечку с фамилией и датой — почему-то не смерти, а сегодняшней датой похорон.

Я огляделся, чтоб, может быть, чем-то отметить в памяти место. Вдруг увидел, что с одного края, метров с трехсот, к кладбищу подступал березовый перелесок. "Там бы", — подумалось. Увидел еще, что где-то за ближайшими могилами торчали хрупкие ветки протянутых к небу ниточных стволиков: значит, сажали уже кое-где у могил деревца... Перевел взгляд поближе, — но тут замечать вовсе было нечего: те же неровные кочки, те же дощечки, а фамилии на них: "Смирнов", "Крюкова", "Иванов", "Дронов". Не звучные фамилии.

И еще увидел несколько крестов. И они, как дощечки, сварены были из железа, проволокой меж перекладин обозначалось несколько простейших завитков, и все было крыто той же алюминиевой краской. Даже столь анахроничный, чуждый как будто всему здешнему предмет был подогнан видом своим к общему виду бессмысленности и суеты, царившим вокруг. Как был здесь "бетонный", как был "свалочный", так, верно, был и "сварочный цех" в одном из

сараев, где варились дощечки — массой, а кресты — по отдельным заказам.

## XXIX

Стоя над новой могилой, бригадир говорил последнее слово — заученно, единым духом *информировал*:

— Ограды заборчики не разрешаются делаются стандартные бетонные обрамления два метра на сто восемьдесят общий размер сбоку место для родственников если кто заказывает оформляется в бетонном цехе.

— А когда оформлять? — спросили его.

— Там узнаете, в конторе. Уже заказы на октябрь, на ноябрь идут.

— А где сто восемьдесят? — зачем-то еще спросили.

— Сюда и сюда, — махнул бригадир по сторонам могилы. — А сюда и сюда — два. Больше запрещено, тут уже могилы.

Он повернулся, и бригада, нетерпеливо ожидая его, разом сдвинулась на пару метров в сторону, окружая следующую, уже почти готовую яму. И нас ждали: чтобы освобождали место — и для машины, и для проноса гроба, и для того, чтобы можно было отоптать и порушить наш неровно сложенный холм.

Потянулись к машине друг за другом, а Т. заходила в сторону и отворачивалась, потому что теперь нахлынуло на нее, и она заплакала.

Уже на дороге нас обогнала группа людей, тоже, судя по всему, только что хоронивших.

— А что? — говорили среди них. — Хорошо ли, плохо, — и нас сюда же!

— Да уж сюда навряд. Год-два, и закроют, а такое же откроют еще где-нибудь.

— Все едино! Все там будем.

Поблизости от машины стоял нищий. Он был на костылях, держал в руках ушанку.

— Подайте, милые, несколько копеечек на поминки. В последний же путь проводили...

Был он, может быть, неопытный нищий, но в голосе его оказалась такая безнадежность, что, сделав два шага и стоя уже у машины, я оглянулся посмотреть на него. Он почувствовал мой взгляд, повернул голову, и мы с полминуты глядели в глаза друг другу. Лицо его было хорошим — чистым и правильным простым лицом, а во взгляде стояла скорбь. Я не выдержал и отвел глаза.

### XXX

Расселись в автобусе в прежнем порядке, шофер спросил: "Все на месте?" — "Все", — ответили ему нестройно. И двинулись в обратный путь.

Опять огибали кладбище и опять въезжали в помойку, и Ю. потерянно рассуждал, расширенными глазами призывая нас разделить с ним его состояние: "Как же можно? Чтобы после всего... смотреть на это?!".

Но мы смотрели. И я бы мог рассказать много новых замеченных мною подробностей из жизни свалки. Например, как оборудованная краном мусорная машина снимала крюком со спины своей квадратный бак и переворачивала, высыпая его содержимое. Почему бы, представилось, и не хоронить так людей? Небольшим катафалочным краном — и из гроба в могилу? А фреза канавокопателя все подготовит — без тяжелого ручного труда, без водки и без матерщины. И другие еще подробности видел я, но они вызывали у меня столь же праздные мысли и представления. Поэтому не буду о них говорить.

Но думалось мне и другое.

Умершая любила жизнь. Но не только жизнь безотносительно ко времени и месту: любила она *эту, нашу жизнь*, которая при ней началась и которая теперь без нее продолжалась. *Эта жизнь* подарила ей *эту смерть*. Ей, посвятившей себя спасению *красоты*, *эта жизнь* воздала — *помойкой*. Провезла сквозь клоаку и выбросила, как хлам. И если была умершая святой, то это и были ее последние, святыя мучения...

Отца ее — верующего старика-еврея — убили фашисты. Он был зарыт в общей яме неизвестно где.

Мужа ее — молодого китайского коммуниста — убили в лагерях в Магадане. Он был зарыт в общей яме — неизвестно где.

Она была зарыта — на Хаванском кладбище, участок 59, в могиле № 2235.

Москва,  
7—9 апреля 1974 года.



## КАРГОПОЛЬСКИЕ МАКОВКИ

*Прочие же люди, которые не умерли  
от этих язв, не раскаялись  
в делах рук своих.*

*Откр. Св. Иоанна. 9, 20*





*Юре, дорогому другу*

I

— Здравствуйте, бабушка! Можно у вас воды попросить? Ходим-ходим по деревне, колодец ищем. Где у вас колодец-то?

— Нету колодцев.

— Что, из Онеги берете?

— Не-е. Родники у нас.

— Родники? А далеко?

— Не, а вон внизу. Близко.

— А, тогда спасибо. Мы тогда там и напьемся. И поедим. А то, знаете, хлеб-то у нас есть, а без воды... Сухо, пить хочется, пока до вас шли... А не скажете, бабушка, церковь каменная — сама завалилась или ломали?

— А?

— Вот церковь-то ваша, — ну, деревянная-то стоит, красивая, мы и пришли на нее смотреть, а рядом-то каменная была? — там камень-то белый?

— Ну!..

— Так что, завалилась она или как? Взорвали ее что ли? Мы глядим, стены толстые были!

— А разобрали ее.

— Как — разобрали?

— На кирпич разобрали.

— Вон оно что... Что же, начали камень брать, она и рухнула?

— Не-е. Сверху брали-то, кирпич. На печи. Тута много печей из этого кирпича по домам. Как эм-те-эс перевели в Коново, так и начали брать.

— Когда это было, бабушка, давно?

— А?

— Я спрашиваю, когда было это, лет тридцать-сорок прошло, нет?

— Годов восемь.

— Восемь?! Так... недавно?!

— Когда эм-те-эс перевели. В церкви-то эм-те-эс была. Они там были, дак крышу снимали. Крыша-то на церкви хорошая была, железная. Они железо-то все посдирали на ведра да на другое что. А уехали, так церковь пустая стоит. А в клубе печь решили класть. Завклубом полез на верх, на потолок, стал кирпичи ломать, да так вместе с потолком и провалился. Обрушилось у него.

— Завклубом?.. Что же, бабушка, как говорится, Господь Бог наказал. Что же стало-то с ним? Живой?

— А в больнице лежал, не знаю. То человек по железу лазил, крышу-то отдирали, и ничего, а этот, завклубом, и провалился.

— Да ведь простое дело, бабушка, потолок, наверное, с куполом был. Кирпич вынешь — и уже не держит, рушится... Ну, а потом-то? Потом?

— Потом начали таскать кто хочет. Вот в той избе печь, и на той стороне, и в том-то доме тоже.

— За восемь лет такую церковь! Ведь даже стен не осталось, только пригорок один. Красивая была?

— Красивая, большая. Место было тут хорошее, ограда была деревянная. А вот это все, где пусто-то, здесь дома, дома были.

— Да и сейчас видно, бросают деревню. Срубы стоят, а нет никого. Когда это пошло-то все? Уходить стали?

— А вот как начали колхозы-то. Богатая была деревня. А в войну тридцать мужчин ушло. Никто не вернулся. Тридцать человек.

— Что, бабушка, скажешь-то. Вот ходим мы, ездим. Вон, видите, книжка у нас, тут фотография есть, ваша церковь снята. Красивая ваша церковь, места хорошие, простор, тихо.

— Хорошо у нас, хорошо, правда...

— А только тяжело видеть-то... Дворы брошены, церкви порушены. Вот были мы в Никольском, знаете, Архангело деревня и Троица, а на другом берегу, там часовня?

— Есть, есть Никольское, знаю...

— Там в Никольском одна только старушка живет. "Что, — спрашиваем, — бабушка, и никого у вас нет? — "Сын, — говорит, — в Коневе". — "Что же он к себе-то не возьмет?" — "А сноха ему не велит". Ну скажите, что же это такое?

— Так наша, наша она, ну! Сноха прогнала, пусть, говорит, на усадьбе своей живет, а ты ее не бери. Знаю. Сын ее в Коневе-то и живет. Ох, молодые-то... А что делать будешь?..

— Да... Ну, спасибо, мы пойдем. Будьте здоровы, бабушка, всего доброго. Значит вон туда родник-то?

— Внизу, внизу, близко.

— Спасибо, дай Бог вам здоровья, бабушка.

— И вам того же.

## II

... В который раз уже просили мы напиться, в который раз вели мы подобные разговоры со старушками. Не всегда, как здесь, нам действительно хотелось пить; не всегда, как здесь, нас не приглашали в избу. Бывало, что, спрашивая воды, мы искали лишь повода начать беседу, и нам говорили сперва "заходите", а потом угощали водой, а когда мы спрашивали молока, то давали и молока — из расчета тридцать копеек за литр. Нередко мы чувствовали неловкость: ну чего трое взрослых людей, два здоровых мужика и женщина, шляются праздно по деревням в пору сенокоса, глазают по сторонам, выпрашивают и щелкают аппаратом? Чего им здесь надо? Гостеприимства вам захотелось — северного, хваленого гостеприимства? Молочка испить — не того, водянистого, из широкой бутылки, а парного, прямо из-под коровы, да еще чтоб хозяйка вам говорила: "что вы, какие деньги, угощайтесь, милые, на здоровье, наша Машка-то по пятнадцать литров дает, нам молока и девать-то некуда, пейте, пейте, дорогие!" — и хотите, чтобы сами предложили отдохнуть, а то и заночевать?

Ох, простите нас, люди! Мы и в самом деле хотели этого. И хотя никогда мы не были голодны в дороге (банка с тушенкой всегда лежала в рюкзаке), хотя не слишком мы и уставали (не так-то уж много было ходьбы, больше ездили на автобусах), и хотя ночлег нам всегда был обеспечен, если не в районной гостинице, то в своей палатке (она нам так и не понадобилась), — все же виделось нам в мечтаниях наших, как же будет это красиво: мы пьем молоко, предлагаем деньги, хозяйка отказывается их взять, тогда мы оставляем гостинец — ну хотя бы горсть конфет внучонку, или, положим, баранок столичных, — их, кажется, любят по провинциям за качество муки, а еще когда предложат остановиться на ночлег, мы скорее всего лишь скажем спасибо, попрощаемся с хозяевами, как с родными и уйдем про-

светленные... Главное же, — поговорим, посмотрим. Увидим, как люди живут. Обязательно взглянем и в красный угол: есть ли иконы? какие? много ли? И спросим разрешения посмотреть. Насчет того, чтобы попросить и унести с собой — за плату или как подарок, — ну, если уж откровенно, то на этот счет мысли наши были такие: выпадет случай — мы посчитаем себя счастливыми. Но ставить себе это целью нам никак не хотелось: теперь уже, когда полчища иконоискателей год за годом шли повсюду, покупая, забирая, унося, воруя, когда первоначальная идея спасения гибнущих икон стала синонимом стяжательства, оболгана, извращена и тем убита, наверное, навсегда, — теперь нам было бы стыдно оказаться среди алчущих "старенького". И потому гордыня бескорыстия наполняла нас — за редким исключением, о чем будет речь впереди.

И, конечно, влекли нас церкви. Каменные церкви Каргополя и деревянные вокруг него. Точнее, русская архитектура, которая и есть — церкви, а еще и избы — удивительные срубы старых северных изб, которые ставились на века. Словом, ехали мы на *Русский Север*, и был у нас с собой соответствующий путеводитель из известной серии "Дороги к прекрасному", так что наши впечатления от увиденного не должны были бы слишком уж отличаться от того, каковы они еще у сотен и тысяч таких же, как мы, туристов, или от того, каковы они у авторов книг о "Дорогах к прекрасному". Кстати сказать, в предыдущие годы каждый из нас троих побывал не однажды и на Онеге, и в Вологодчине, и на Северной Двине, так что все представляли неплохо, зачем мы едем и что предстоит нам увидеть и услышать. И не начал бы я писать вот эти свои страницы, если бы так, как и прежде воспринимались, и так, как подобные поездки воспринимаются всеми. Но на этот раз все было иначе. Я с первых же дней путешествия задумался о том, что стал я другой, что я изменился, все вижу в ином, в поразительном свете, который не то мешает увидеть реальность, не то, напротив, впервые ее для меня открывает. Оказалось, что нечто подобное испытывают и другие — Татьяна и Юра.

Потом однажды обмолвился я, — по тому, если помнится, случаю, что в одной и той же мертвой деревне старуха нам рассказывала про ужас времен раскулачивания, а ее соседка — про те же времена, только с гордостью, так как людей нехватало и ее покойный муж чуть ли не в одиночку раскулачивал, вел тут всю эту тяжелую партийную работу, — вот, обмолвился я, такое следовало бы записать, — и мне в один голос сказали: "Напиши, напиши про всю поездку". Я было стал отговариваться ленью и тем, что в Москве ждет брошенная работа. Да и не люблю этот жанр — путевые заметки. Но теперь, вернувшись, понял, что малодушием будет не написать. А это, как ни грустно, всегда у меня едва ль не единственная причина взяться за писание: не уступить малодушию. И вот пишу теперь — не знаю, о чем уж больше, — о том ли, каков этот край, или о том, каковы в нем мы — сегодняшние.

### III

Когда наш поезд двинулся от Ярославского вокзала, Юра, возбужденный, не остывший от предотъездной суеты и от веселых проводов на перроне, — его провожали друзья, вручившие ему напоследок бутылку водки и длинную гирлянду сушек, — стал нам говорить, что эти дни у него оказались на редкость тяжелыми. Еще сегодня он работал, а вчера — вчера хоронил соседку, которая жила стена в стену с Юриной комнатой. Соседке было далеко за восемьдесят, слегла она всего только две недели назад, вероятно, это был рак — она не ела и быстро начала сохнуть, слабеть. В больницу класть не стали — видно было, что незачем. Приходили на квартиру вызванные родственники, толклись часок-другой безо всякого дела и исчезали. Ухаживали за старухой вторая, тоже весьма пожилая, соседка и Юра. Родственники оставаться с больной не могли — все были заняты работой, или, точ-

нее сказать, были заняты *жизнью*, и все призывы оказать умиравшей какую-то помощь оставались безответны. Незадолго до дня смерти, заглянув рано утром в ее комнату, старушку нашли на полу: ночью она захотела дойти до уборной, упала около кровати и встать уже не смогла. Лишь использовав этот случай в качестве серьезного аргумента, удалось после долгих уговоров заполучить к старушке племянника, который явился в квартиру пьяный, и вечером как уснул, так до солнышка и не просыпался. Она ж тем временем и отошла среди ночи. Призывали и других родственников, они приходили, толклись опять беспомощно и бездейственно, и поэтому-то всеми похоронными делами занимался Юра.

Мы принялись за свой дорожный ужин, и по мере того, как отстукивалась Москва все дальше и дальше от нас, беседа наша бежала вместе с колесами к цели нашей поездки, и мы заговорили о том, кто, когда и в каких местах бывал там, на Севере. Юра, в противоположность нам, ездил и в сам Каргополь, и вокруг, и по Верхней Онеге, но поездка его была, как он считал, поспешной, он торопился тогда сделать все нужные снимки для книги, и теперь вот, когда с той поры прошло уже пять лет, хотелось ему объехать места, приятные сердцу, уже не спеша. А мы, Татьяна и я, побывали еще за год до Юры на Нижней Онеге, на Верхнюю не попали, не видали и Каргополя, и наш уговор отправиться туда втроем существовал еще с зимы.

— Скажите, ребята, почему вы ездите на Север?

Вопрос этот в Юриных устах прозвучал неожиданно. Странно. Как это — почему?.. Что за глупость такие вопросы, разве можно на них ответить впрямую! Я начал мямлить что-то про архитектуру, про природу — и не понимал, что же хочет Юра услышать?.. Таня, просияв глазами, сказала нечто простейшее, вроде "мне там хорошо!.." — и Юра, будто заслышав нужный отклик, стал пересказывать спор, который вышел у него с одним нашим общим знакомым. Была компания друзей, сидели за столом, и вот приятель накинулся на Юру примерно с тем же вопросом — что, мол, тебе



этот Север дался? Ты, говорил Юре приятель, едешь туда утверждаться, ты хочешь себя убедить, что все это тамошнее любишь — а что там любить? Примитив, бескультурие и грязь! Ты едешь туда потому, что некуда тебе больше ездить! А жил бы, положим, как во всем мире люди живут, то есть с полной свободой передвижения, ты бы со своей любовью ездил то во Францию и в Вену, то в Мадрид или в Лондон.

— Понимаете, — говорил нам Юра, — до того он дошел, что все ему здесь плохо — и люди, и жизнь, и старая архитектура! Все ругает, ото всего отворачивается! Ну все мы знаем, сколько безобразия, сколько ужасного, но я, например, так не могу — совсем уж враждебно! Против всего!

Мы слушали эти слова сочувственно. Юра был прав. Я сказал, что невозможно все отрицать, в таком взгляде на вещи заключена ложь внутренняя, плохое — плохим, закрывать глаза на это глупо, да мы и не можем уже, как когда-то, а жизнь всегда несет в себе и хорошую сторону, которую человек непредвзятый, широких воззрений и неозлобленный неизменно принимает во внимание. "Мои дети птиц не видят", — напомнила Таня, и напомнила кстати. Да-да, подхватил я, это Таня про француза, гостил недавно у нас молодой француз, симпатичный парень, который сказал, что в России его поразили больше всего две вещи — непрерывный дождь и отсутствие ножей в столовых, — и вот наш светский разговор с ним вышел на какой-то миг в откровенное ответвление, упомянула одна из собеседниц, что ее отец в тридцать седьмом году был в тюрьме, — а вы знаете что-нибудь про репрессии у нас в стране, спросили мы француза? И парень ответил серьезно: "Я знаю, что у вас в стране есть проблемы; у нас тоже свои проблемы". — Какие же, какие проблемы у вас? — заинтересовались мы, и вот тут-то он, весь как-то подобравшись от нестерпимого горя, которое охватило его, сказал со страстью: "Мои дети птиц не видят! У вас повсюду в городе зелень и много птиц, а у нас их нет". Живет он не в Париже, а в маленьком городке со ста-

ринным замком и с новейшим университетом, и нам действительно стало страшно: дети видят воробья лишь на картинке. И мы решили тогда, дав волю ироническим наклонностям своих умов, что нечего нашу исконную российскую бесхозяйственность честить без конца почем зря: хозяйствовало бы последние пятьдесят-шестьдесят лет на европейский манер, давно бы и у нас ни деревьев, ни птиц, ни самой атмосферы не оказалось, все бы изничтожили по указке, пуще западного, и про охрану окружающей среды не стали бы и задумываться. А так — вот тебе и птицы, и леса, и луга, и реки еще кое-где живые, да вот и Север этот, — вернулись мы к теме нашей беседы, — его очарование заключается в том, что он нетронут еще, что пресловутая цивилизация застряла на пути к нему, и, может быть, слава Богу, что так, пусть их себе живут и Рим, и Флоренция, и Падуя вкупе с Вероной, — но то все само по себе, а Онега-река — сама по себе. И мы не какие-нибудь кондовые россияне, ура-патриоты, мы не русопяты, и предложи нам в отпуск да за отпускные рубли съездить в Европу, — поверите ли? — не отказались бы, честное слово. Но на Онеге нам — нравится. Вот и весь ответ, почему мы едем туда.

Хороший был у нас разговор. Интродукция к рондо-каприччиозо.

#### IV

Из поезда мы вышли в Няндоме и быстро обогнули станционное здание, разыскивая самолетную кассу. "Так аэродром за двенадцать километров", — недоуменно сказал нам кто-то. — "Но билеты здесь продают?" — Человек пожал плечами.

Сложив рюкзаки на скамейку и оставив при них Татьяну, мы с Юрой прошли внутрь, в зал ожидания. Там толпился народ у автобусной кассы, к которой было не подсту-

питься, а рядом находилось окошечко почты, куда мы и обратились:

- Где продают билеты на самолет на Каргополь?
- На Каргополь? А разве есть в Каргополь самолет?
- Как же — есть, я летал! — говорил это Юра, как самый бывалый и, сразу скажу, самый инициативный из нас троих.
- Теперь не летает.
- Почему?
- Кто знает.
- А как едут?
- Автобусом, как.
- А что же все-таки, аэродром-то работает?
- Работает, что же!
- Можно туда позвонить?
- Телефон отключен.
- Какой там номер? Я из автомата попробую.
- Ой, у меня и нету их номера.
- Да там телефон-то есть?
- Мань, а Мань! — закричала почтарша через перегородку автобусной кассирше, — не знаешь, телефон в аэродроме есть?

Из кассы что-то ответили.

- Не знает она, — передала почтарша.

Устроили краткое обсуждение. Конечно, если самолета нет, придется поехать автобусом, хотя самолет — это полчаса, а автобус — три.

- Кто последний? Вы? — мы за вами будем.

На Каргополь автобус в десять, через час, и это нас как будто устраивает. Однако не спросить ли еще у кассирши, что же все-таки с самолетами? Тем более, что люди не торопятся покупать билетов, молчаливой и очень дисциплинированной чередой стоят вдоль барьера, в углу и около стенки. Юра спросил разрешения обратиться к кассирше, и люди посторонились.

- Скажите, пожалуйста, вы не знаете, самолеты на Каргополь летают?

- Не летают.

— А что там — никуда не летают, из-за погоды, или, может быть, в Каргополе не принимают?

— В Каргополь не летают сейчас.

— А как бы узнать, в чем же дело? Вот нам надо срочно добраться, у нас задание от редакции, мы были уверены, что в Каргополь есть самолет!

— Список составляйте.

— Список? Какой список?

— Кто хочет в Каргополь.

— Отлично. Это мы сейчас сделаем. А сколько человек минимально?

— Двадцать четыре. — И окошечко закрылось.

— Так, товарищи, кто полетит в Каргополь? — бодро спросил Юра, и тут же двое-трое из впереди стоявших напомнили, что именно они первые, и они-то и хотят быть первыми в самолетном списке. Но Юра, весело улыбаясь, уже быстро набросал — один, два, три — наши фамилии и резонно с полушутливостью оправдался:

— Нет, позвольте, я сначала нас впишу, ведь вы стояли и ни о каком самолете не думали.

— За инициативу, — поддакнул я.

Люди не возражали. Муж спрашивал жену, полетит ли, парень — подружку, две городского вида женщины тоже рискнули, список легко перевалил через десять, уже и пятнадцать фамилий, и тут один из стоявших высказал мысль:

— Как же — двадцать четыре? Двенадцать на самолет, не больше.

— А может — "ИЛ"? — предположил я.

— Какой там "ИЛ"!

— А, — догадался я. — Им, наверное, невыгодно ради одного только рейса машину гонять. Своят двенадцать, а потом еще двенадцать.

И я был очень доволен своей догадливостью.

— Вот, пожалуйста, готов список. Двадцать пять желающих. А когда может быть самолет?

— Самолеты не летают в Каргополь, я сказала вам.

— ??? Ка-ак??! — Юра и я за ним — мы ошолбенели. — Вы... Мы вас... Вы нам... А список? — зачем составляли список?!

— На автобус.

— Автобус?

Мне казалось, что сейчас должно что-то произойти. Ну хотя бы просто-напросто базарный скандал, чтобы люди, которых оставили в дураках, могли сорвать на ком-нибудь зло — на кассирше, или, пожалуй, на нас, этих двух "энергичных", затеявших возню со списком. Но ничего не произошло. Люди нестройно погудели, они были как бы даже удовлетворены, что вот у них ничего с билетами не выходит — и у этих инициаторов тоже ничего не получилось. Так сказать, естественность хода, вернее, естественность отсутствия событий осталась ненарушимой.

— А что, разве нет автобуса на Каргополь?

Этим вопросом мы дали очереди полное удовлетворение, потому что выказали себя наиглупейшим образом перед всеми: до сих пор не разобраться, что нет автобуса, что все ради этого автобуса здесь стоят аж вон с каких пор, и билетов нет и никогда не будет! Какими же глупыми надо быть, чтобы не понять: вся очередь стоит и ждет именно на Каргополь. Люди даже сочувственно улыбаются нашей наивности. Очень тут симпатичный народ, как посмотришь!

— Зачем же список нужен? — Вопрос свой Юра вновь обращает к кассирше, которая наредкость невозмутима. Наша московская давно бы уже наорала.

— А сообщу, может, дадут автобус.

— Так сообщите, конечно!

— Как я сообщу? Телефон отключен.

— А если из автомата?

— Чего же, звоните.

— От кого зависит дать машину?

— Евгений Николаевич.

— Он кто?

— Начальник гаража. Три двадцать четыре звоните.

Публика слушала внимательно и сочувственно. Играло свою роль и то, что Юра весьма представительный человек.

— Евгений Николаевич! Это вы? Здравствуйте. Вот какое дело. Нас вот тут трое из Москвы, у нас задание от редакции, мы журналисты, нас ждут сегодня же в Каргополе, — а что получается? — самолеты неизвестно почему не летают, автобусов нет, люди стоят, никто ничего не знает, говорят, что нам и не добраться. Как быть, Евгений Николаевич?

Тот ответил, что машины нет.

— Евгений Николаевич, что же делать? Ну что, нам тогда один выход — идти в горком, может, они нам помогут или хоть объяснят...

Евгений Николаевич сказал, что через полчаса выяснится, можно ли будет дать машину. Подождите с полчаса, сказал Евгений Николаевич, начальник гаража, что мы и сообщили миру. Мир воспринял эту весть должным образом: чутко погудел, поулыбался и вновь затих.

Очередное наше совещание вынесло решение такое: поскольку начальник гаража практически не обещал нам ничего, а лишь велел подождать, стоило разделить: одному остаться здесь и через полчаса снова начинать трясти Евгения Николаевича, а другому пойти в горком и там тоже трясти — бумажкой от редакции, — бумажка у нас и вправду была, и в ней содержалась просьба "оказывать помощь". Пошел в горком я. Дорогу узнавал сперва у женщины, она объясняла путано, но по крайней мере нужное направление указала; затем двое ребят уже вполне подробно растолковали мне, где свернуть и сколько пройти, а когда я, повторив, спросил: "Правильно?" — мне впервые ответили знаменитым: "Ну!". Я чуть не расцеловался с парнями.

Но до горкома я не дошел. Увидев бочку с квасом, попил я квасу — не переслащенного и реденького, как московский, а кисло-густого, вполне деревенского квасу: за бочкой увидел надпись КНИГИ и, разумеется, свернул туда. Магази́чик был обычного, негородского стиля, но с подписным отделом. На полке "Поэзия" лежали "Страницы европейской поэзии" в переводе Мориса Ваксмахера, — книжка, которую я не достал, конечно, в Москве, и потому теперь взял две штуки — нам и Юре, и еще была книжка Ва-

лентина Сидорова "Год за годом" — поэта, которого уважают наши почитатели Н. Рериха. Я открыл "содержание", — ну да, вот она, поэма "Вивекананда", вот и строки, которые подчеркнул мой литовский друг, пересылая мне стихи Сидорова:

Кто на себя возьмет великий труд?  
Америка? Я утверждаю ныне:  
Коль скажут вам "Америка" — сокрут —  
Мещанский дух бесплоднее пустыни.

Нет, не она прорвет заклтый круг,  
Нет, не она — водитель и Мессия.  
О сокровенном размышляя вслух,  
Без колебания говорю: Россия.

То не догадка, а простой подсчет  
Энергии великого народа.

Так, в пересказе Сидорова, "и говорил своим ученикам Вивекананда". Великий он был пророк, если предсказал такое где-то меж XIX и XX веком, не позже, так как умер в 1902 году. Одно только плохо, что все пророчества, даже не столь конкретные, оставляют место многим толкованиям, и в данном случае можно задаться вопросами: сбылось ли уже пророчество Вивекананды, положим, в 1917 году, и последующие строки Сидорова об энергии народа ("она одна бестрепетно начнет переворот невиданного рода") позволяют, как будто, считать, что великий философ именно революцию и имел в виду; или речь идет совсем о другом, так как пророчествовал тут же Вивекананда, будто после переворота "станет человеком человек, а не подобьем жалким человека". Можно было задуматься и над тем, каким способом подсчитывал Вивекананда энергию народа; и какую именно энергию: скрытую, нерастраченную, потенциальную энергию, или ту, которая "раз-два, взяли" или "эй, ухнем!".

Но задумываться было некогда, книжку я взял, и тут взгляд мой пал на полку с надписью: "КНИГИ, СДАННЫЕ НАСЕЛЕНИЕМ". Много чего хорошего сдавало население, и, смею уверить, не читая, так как взял я с полки новехонькие тома Вергилия, "Античной драмы" и "Поэзии трубадуров, менестрелей и вагантов", все из подписной серии, к ним присовокупил я "Город" Фолкнера, — потому что нельзя такую книгу не купить, даже если она и есть у тебя. И "Город" издания 1965 года тоже был нов, не читан.

Я вышел из магазина с чувством, что совершил некий недозволенный набег, и теперь мне надо скрываться. С толстой пачкой книг и с этим нехорошим чувством как было идти к горкому? Я повернул назад, утешая себя тем, что полчаса прошло, что Евгений Николаевич уже сказал что-то определенное, и мне в любом случае лучше быть вместе со всеми.

Мои книги вызвали великое потрясение сперва у Тани, затем у Юры. События, меж тем, выглядели так: телефон у Евгения Николаевича молчал, кассирша ушла, очередь не стояла уже, а сидела по лавкам зала. Мы взяли рюкзаки и двинулись к дороге, рассчитывая поймать попутку.

Там простояли мы еще что-то около часа. Поодаль и другие занимались ловлей каргопольских грузовиков, и кто-то сумел уехать, — у нас осложнялось все тем, что было нас трое и с вещами, а в кабину берут налегке одного, редко двух, в кузова не сажают. Юра то и дело бегал звонить в гараж, и вдруг начальник ответил! И сказал, что машина есть и в 12 часов пойдет она в Каргополь! Вот когда мы возликовали! С этим ликованием сообщили всем, что дадут автобус, и все восприняли это как должное: будет — значит будет. Но, когда будет, тогда и будет, а пока-то нет... И все продолжали сидеть по лавкам. А я встал у кассы, чтобы уж не упустить своего. Один только человек из очереди подошел ко мне — инвалид на высоком протезе, и он, улыбаясь, выразил нечто похожее на восхищение, в таких, примерно, словах: "Добили вы начальника! Хорошо. А не звонили бы — так и не добились бы ничего".



Через полчаса появилась кассирша. И опять было чувство неловкости, когда мы получали билеты: никого не пришлось оттирать локтями, вновь доказывать свое право быть первыми. И у автобуса, куда мы, имея московскую практику, побежали скорей-скорей и встали под самые дверцы, тоже никто не душился, и когда их шофер отворил, можно было втащить свои рюкзаки без всяких помех. Неужто мы такие нахалы, подумал я, что на здешнем спокойном фоне выгладим прямо-таки ушлыми пронырами? В Москве-то себя без конца коришь за нерасторопность... Но когда уже ехали, Юра сказал: — Потрясающий народ! Никому ничего не надо! Стояли бы и стояли, ждали бы хоть весь день. Как им скажи, — так и будет. Удивительно!

Это была уже формула: "Никому ничего не надо". Нам-то, приедем, было что-то "надо", и мы задавали вопросы, звонили, тревожили тех, кого никто не тревожил, и вот начальство шевельнулось, дало автобус. Нас начальство испугалось — чуть-чуть, самую малость. И очередь тоже: видно, лихие люди, раз дают себе волю.

## V

Только что скрылись последние няндомские дома, как прилепились мы к окнам. Первое, что бросалось в глаза, — это густое облако цветущих трав. Все вокруг по обе стороны дороги было покрыто высоченною, по пояс, мощной, напоенною влагой зеленью, по которой бесчисленной россыпью желтого, белого, сизого, синего, фиолетового и красного разбегались головки цветов. Великому полчищу трав как будто не хватало места в земле, и заметно было даже издали, как стебли теснили, опутывали друг друга, но ничего не гибло, не усыхало, а лишь перло из общей теснины вверх, каждая вершинка к своей счастливой толике света,

которого, видно, было в достатке любому из мириада побегов.

Травяное буйство начиналось от самой дороги, кюветы, обычные скопища пыли, грязи и мусора, — и те заросли много выше проезжего полотна; и море травы уходило куда ни глянь, но, вернее сказать, то было не море, а одно большое, до горизонтов, озеро, с глубоко изрезанными берегами и множеством островов, и травяные воды обтекали, заливали и укрывали островные и береговые земли, и земли эти были лесами, перелесками, отдельными кучками деревьев, будто плавающих в траве.

Заметно холмилось. Водитель — молоденький аккуратный паренек — сбрасывал ход перед каждой рытвиной, а едва его крупный увалень "Львовец" выкатывался на ровное, приходилось подпитывать газу, потому что, хоть и не сильно, однако дорога тянулась вверх. Потом, добравшись на невысокий водораздел, покатались уже порасторопнее книзу, и тут опять приходилось подтормаживать перед рытвинами и объезжать разбитые куски дороги. Покрытием был песок со щебенкой, в которых накатали гладкое лишь в одну машину и все почему-то по левую сторону, и когда появлялся встречный грузовик, мы нехотя отворачивали во-сво-яси — направо.

Дорога только и жила. Сперва глаза бездумно отдыхали, погружаясь в пространство, полное трав и лесов и волокнисто-сероватых с синью и солнцем небес, но скоро случайная мысль — где же люди, и делают ли тут, среди благодати, хоть что-то? — эта мысль заставляла искать глазами признаки людского бытия. Они находились: провода по столбам шли и вдоль дороги и через поля; где-то вытягивалась, как вагон несуразной длины, одинокая ферма; вот квадрат невысоких овсов; проехали и поселок. Но всюду было безлюдье. И знаками его тут и там вдоль дороги появлялись темные срубы покинутых изб. Видеть их нам было не впервой. И по-началу мы любовались самими срубами, выхватывали проезжим взглядом остатки резьбы на наличниках, доску подкрашенного полотенца, крепкую выделку бревен

амбарных ворот. И, вскидывая подбородком, указывали друг другу — смотри, мол, вот оно все то, за чем сюда ехали. А потом, когда было сказано кем-то: "сколько брошенных..." — уже без прежнего ликования глядели мы словно бы око в око — в опущенное веко забитой досками или в черный провал пустой оконной глазницы.

Переехали речку Волошку, остановились за мостом для перекура и прочих нужд. Кто-то из местных похвалил дорогу. Паренек-шофер сказал: "Я даже удивляюсь. Молодцы каргополы, хорошо починили. То совсем не проехать было. А сейчас можно быстро". Быстро — это за два с половиной часа до Каргополя. И значит, примерно, 35 километров в час.

Въезжая по понтону в город, спросили у шофера, где гостиница. Он сказал, что от автостанции поедет к столовой обедать, а это мимо гостиницы, и он остановит.

## VI

В Каргополе теперь новая гостиница — двухэтажный дом из серовато-белого кирпича с пунктирным бордюром из красного. Такая она, гостиница, новая, что ресторан, занимающий ровно четверть всего небольшого здания, еще не открыт. Однако уже все в этой гостинице так, как положено: живой человеческий дух туалета, скандал у окошка администратора и отсутствие мест.

Дежурит простая, средних лет женщина, которая нервозна до ненормальности, и некоторое чувство жалости к ней отбивает всякую охоту ругаться на тех же тонах, на каких срывающимся голосом она выкрикивает: "Место?.. Где возьму?! Всем... места! А я что?! Нету... сказала?.. Не знаю, когда! Когда съедут, тогда!.. Ни одного нету, нету!.."

Получалось так, что весь скандал производила она сама.

На стульях у столика и на диване сидело несколько человек. Ждали. Сложили и мы свои рюкзаки, села на диван и Татьяна, а мы с Юрием спросили у дежурной, как пройти в лесхоз. Чуть успокоившись, она объяснила, что идти до красного дома, это военкомат, а от военкомата поперек по Одесской улице. Понимать объяснения было трудно: шипящие, свистящие и взрывные в речи женщины путались, подменяли друг друга, и нам приходилось переспрашивать, уточнять. Чуть позднее, когда уже дошли до военкомата и стали искать Одесскую улицу, выяснили у встречных, что не "Одесская" — такой здесь нет, — а "Онежская", и не рядом с военкоматом, а через квартал за ним. Вообще же, местная речь и в дальнейшем частенько оставалась для нас за семью печатями, потому что русское произношение было искажено до неузнаваемости — но отчего? Только ли диалектическими особенностями разговора? И только ли шамкающей беззубостью стариков? Возможно, что первая причина главная, но и вторая, так как мы много беседовали со стариками, тоже произвела на нас сильное впечатление. И, например, увидев однажды среди Каргополя старика с белым хлебом в авоське и спросив его: "Дедушка, скажите, пожалуйста, вы из какого магазина хлеб несете?" — услышал я множество звуков, кои в моих ушах никак не складывались в слова, за одним исключением: "А-м-зин" — почудилось мне, и я решил, что это "магазин". Жестикулировал дед тоже весьма неразборчиво, и, обегав окрестные магазины, я тогда хлеба не нашел — ни белого, ни черного. Ну да ладно — старики, а ведь и молодые в этих краях говорят, как бы это сказать? — с причудливостью. И как я смог заметить, причудливость эта не только в "оканье", или "цоканье", которые безусловно суть местный признак, а в каком-то просто-напросто нежелании работать языком. Слова здесь выходят из ртов говорящих не то укороченными, не то скомканными, а периоды и фразы перепутанными, где слово и даже отдельный слог заскочили не на свое место и разорвались междометием и ненужной частицей. Работа языка, его механическая работа, его повороты, изгибы, как и правильная работа

всего речевого аппарата, отражает, надо думать, работу мыслительного аппарата, пусть, собственно, не интеллектуальную, а тоже механическую работу, то есть сам процесс "думанья", процесс формирования даже самой простейшей мысли. И если это так, то приходит в голову вопрос, от которого веет мне жутью: за этой спутанной, сдавленной, разрушенной речью, за неповоротливостью и, напротив, быстрым бормотанием языка — какие же мысли? Неужто и там, под черепной коробкой, — просто-напросто нежелание мыслить ясно и четко, внятно и разумно?

## VII

Работников лесхоза Юра знал по прошлой поездке. В центральных лесных газетах и журналах напечатал он где информацию, где фотографию, а внимание прессы, как обычно бывает, людей радует, нередко помогает работе, и Юра теперь рассчитывал, во-первых, сделать, может быть, еще кой-какой материал — хотя бы и об успехах в сравнении с пятилетней давностью, а во-вторых, рассчитывал разжиться некоторой помощью — сейчас вот выяснилось сразу, вполне насущной помощью с ночлегом. (Добавлю, что и я рассчитывал отыскать в Каргополье кое-что интересное: было у меня задание от одной молодежной редакции написать о художественных народных промыслах).

Знакомого Юре начальника не было, заместителю его, сидевшему в общей комнате еще с четырьмя-пятью работниками лесхоза — все женщины, — сказал Юра о себе, что он корреспондент, что был здесь уже, и одна из сотрудниц с милым смешком и смущением проговорила: "А я вас узнала. Вы нашего Рябова снимали", — и все разом завеселились в игривых улыбках — наверное, точно в тех же игривых улыбках, с какими рассматривали в газете портрет

своего начальника: "Ой, глядите наш-то, наш! Прославился на Союз". И ха-ха-ха! — всем весело, и полдня можно пересмеиваться шуточкой да словечком.

Но заместитель был серьезен: "корреспондент" могло значить всякое. Поэтому он с минуту подумал, опустив к столу голову, потом встал и сообщил о своем решении: "Поговорим в кабинете. Пойдемте". Мудрое решение: а вдруг визит корреспондентов связан с неприятностями? Лучше, чтобы свидетелей разговора не было. И мы, вполне понимая возможные страхи нашего собеседника, на первые же его настороженные слова: "Так, так. Заходите, садитесь. С чем вы к нам сейчас-то?" — сразу же ответили, что, конечно, за достижениями, за тем, чем вы могли бы гордиться. Кстати, как поживает плантация кедрача? растут деревья? — расти-то растут, да знаете... вот повел учитель школьников на экскурсию, а они костер зажгли, учитель-то первый предупредить должен, разве не так? — конечно, именно учитель, согласились мы, — а кроме кедрача, если еще интересное что-то делается, может, по быту? — А, это делается, дом строим, — вот видите, это хорошо, — а, между прочим, мы свой быт (тут мы смущенно развели руками) пока не смогли устроить, в гостинице нет мест, а у вас нет ли комнат для приезжих?

Заместитель помолчал. Потянулся к трубке и позвонил в гостиницу. Нервной лихорадочности дежурной он противопоставил речь основательную и насыщенную паузами. Он разбирался в ситуации и хотел показать нам, что делает все, что в его силах. Он сказал в трубку: "Вернутся корреспонденты в Москву и напишут — не оказали им гостеприимства". В шутку это было сказано или всерьез? Мы рассказали, что дежурная могла бы нас хотя бы поставить на очередь, там в гостинице сидит на диване приехавшая с нами женщина, она продиктует дежурной свою и наши фамилии.

Мы стали расспрашивать о том, что интересовало Юру и не в меньшей степени меня: о мастерах, которые режут из дерева, плетут из бересты, лепят из глины. Кое-кого из них Юра знал, и выяснилось, что двоих стариков уже нет в жи-

вых, что знаменитая бабка Бабкина уже не лепит, стара, и из деревни Гринево перебралась сюда, в Каргополь. А тут в артели, где делают игрушки, во главе все тот же бывший лесник, и дело там идет. Лесхоз тоже было занялся "сувенирами", но художественный совет в Архангельске не утвердил ни их резного деревянного медведя, ни такого же глухаря, сидящего на шкатулке. Медведь и птица, вырезанные умельцем, стояли тут же в кабинете на полке шкафа и, подойдя к ним, чтобы рассмотреть поближе, я неделикатно крикнул. "Эт-да... — ухмельнувшись безо всякой обиды, кивнул хозяин. — Сами понимаем... они того..." Разговор наш двигался туго, как телега, вязнущая по ступицу. Оно и понятно: все, что говорилось, задевало только нас двоих. В наших голосах появилась даже неестественная приподнятость: мы вроде бы старались выразить как свои эмоции, так восполнить и безразличие нашего собеседника. И это качество нашего собеседника проявлялось заметнее всего при всем том, что производил он впечатление человека вполне симпатичного, вероятно, незлобивого нрава, наверняка спокойного и, в общем-то по-человечески доброжелательно настроенного и к нам, столь неудобным для него гостям, и, как можно было заметить, к подчиненным тоже, поэтому тут было безразличие в чистом виде, безотносительно — по нашему поводу или нет, безразличие, как самый лучший способ существования (так и хочется добавить: белковых тел).

Под конец опять мы вздохнули, что негде ночевать, и тут заместитель позвал в кабинет одну из сотрудниц, и она сразу же вызвалась походить по тем домам, куда "пускают", и в ответ на благодарности уверила нас, что наверное найдут жилье. Когда, условившись с заместителем, что о дальнейшем будем говорить завтра с начальником и, распрощавшись, вышли на улицу, то увидели синее платье лесхозовской сотрудницы уже далеко впереди, и эта быстрая готовность что-то немедленно предпринять вызвала у нас умильное чувство отрады. Разумеется, в нас загорелась надежда, что все образуется, и Юра сказал самую оптимистичную

фразу, которую я когда-либо слышал: "Никогда так не было, чтобы никак не было: всегда как-нибудь да было". Но возникшее чувство отрады связывалось не с тем только, что человек стал заниматься нашими делами. Было тут другое: некий контраст той атмосфере, которую мы вдыхали весь сегодняшний день и химические свойства которой определялись формулой: "никому ничего не надо". — А что, Юра, — подсмеивался я, — ты думал, к нам кинутся, разохаятся, разохаются, — корреспонденты приехали! какое событие! и сразу тебе гостиница, машина! Так, что ли? — Разве это плохо? — смеялся и Юра. — Но какой же он сонный! И Рябов — какой из него начальник хозяйства! Обыкновенный мужик, лесником работал, ну так, и не слишком расторопный. Людей у них нет. И вот такой Рябов — начальник, а этот у него заместитель! Тут, знаешь? — если человек хоть чуть-чуть соображает, мало-мальски грамотный, его выдвигают на должность. Он и сидит. Чего ему лишние волнения?

— С этими корреспондентами! — опять подхватываю я. — Явились! Два гуся. Сидит человек, работает, и ни с того, ни с сего на вопросы отвечай, думай, да еще соображай: "К чему эти двое приехали? К добру али не к добру? Вдруг чего случится?"

Но кто мог подумать, что это "вдруг чего случится" и спасет нас!

Придя в гостиницу, я сразу увидел по Таниному лицу, что здесь что-то произошло: приставали, оскорбляли, матерились пьяные? Наспех стал спрашивать: "Что-нибудь случилось?" — "Нет-нет!" — "А что здесь, паршиво?" — "Потом". — "Может, сразу уйти?" — "Я потом расскажу". Я рассказывал, что оставил ее здесь одну.

Юра был уже у окошка, и тут дежурная неожиданно велела нам дать паспорта! Она говорила, хотя и с нервностью, но более сдержанно, и, не веря ушам, мы узнали, что нам дают места! — только в трех разных номерах. "Вместе нету!.. Где возьму? Переселим! Съедут. Завтра переселим, съедут!.."



Мы с Юрой переглядывались. Все было ясно, как дважды два: испугалась дежурная! Испугалась звонка из лесхоза! И не заместителя, конечно, а его слов о том, что вернутся корреспонденты в Москву и напишут! И потому — вот вам, нате наше гостеприимство, от греха подальше!

Тут все понятно: и страх, и известная истина, что в гостинице, где нет свободных мест, они всегда имеются. Кому их держали? Зачем? По одному в далеко не "люксовых" номерах на три и четыре человека?

Юра позвонил в лесхоз, сказал, что нас уже устроили, поблагодарил, и спустя четверть часа мы шли в столовую. Таня срывающимся голосом рассказывала, как только что при ней дежурная с яростью кричала на двух молодых людей: "Шляетесь! Пьете! Водите! Шум ночью на всю гостиницу!.. Безобразники!" — "Мы художники, мы тут работаем, мы в командировке..." — пытался объяснить один из них, а другой только повторял беспомощно: "Кошмар, какой кошмар!"

— Понимаете, ребята, — убеждала нас Таня, — на них достаточно посмотреть, сразу видно — ну не могут они напиваться, чтобы безобразничать, — интеллигентные мальчики, одно это "кошмар" — уже понятно, что она все выдумывает! Это не они! Она ужасная, это действительно кошмар.

Я постарался успокоить Таню объяснением, что дежурная, похоже, и не злая и не хулиганка, а только малость не в себе, и ей тут трудно работать. В конце концов, какая радость всем отказывать, выслушивать постоянно жалобы, требования и угрозы? Нервозный человек в таких условиях и до ручки может прийти.

Столовая, которая была около самой гостиницы, за углом, привела нас в восторг. Не великим разнообразием блюд, не красотой помещения — ни того, ни другого не было, напротив, и выбор всегда оказывался скуден, и обстановка в ней примитивная — железные с пластмассой столы и стулья, алюминиевые ложки-вилки, словом, все в ней более чем ординарное. Но восхитила нас эта столовая достоинствами, какими не блещут столовые, например, московские: отсутствием хамства и вкусной, пусть и не Бог весть какой, но честно приготовленной пищей. Мясного там почти не бывало. Во всяком случае, котлеты из меню вычеркивались еще до двух часов дня, случался в меню "гуляш из ливера", который на поверку оказался нарезанными почками. Но жареную треску или жареного леща можно было съесть с удовольствием, как дома. И первое всегда бывало не похлебкой, а действительно рассольником и супом. Ну, а оладьи, блинчики с творогом и сам творог, хотя сравнительно и дорогой (по тридцать копеек порция), но наложенный щедрою горою, облитый густейшей сметаной и обильно посыпанный песком, — все это мы поедали с истинным гурманством. Поразителен был и чай! Да нешто не могла нас, москвичей, пьющих в столовых и забегаловках помойные чаи и кофе, не поразить чудесная картина: в стакан наливается жидкое сразу из двух чайников — заварного и с крутым кипятком, причем заварка крепчайшая, и когда она иссякает, — честное слово, я сам это видел! — не разбавляют гущу новой водой, а заваривают свежий настой! Такое себе и дома, в вечной спешке, не всегда сделаешь!

Кассирша с любопытством ждет, что мы будем выбивать. Так как мы обычно приходили голодные как волки, то набирали и первое, и второе, и творог, и оладьи, и чаю не меньше пяти стаканов, а то еще и молока и булочек, и кассирша взирала на нас одобрительно-снисходительно, отвечала на наши расспросы, — что лучше, треска или лещ? —

и не торопила и не кричала: "думайте сперва, потом заказывайте!" — когда мы в голодном азарте меняли выбранного леща на гречневую кашу с молоком, а вместо трех булочек просили выбить шесть. Не шумела за нами и очередь. Правда, обычно бывало в кассу три-четыре человека, не больше, но в столовую шли не только приезжие: тут ели и дорожные рабочие, копавшие неподалеку мостовую, нередко ели и женщины со своими детишками, и это нас сперва удивило: как-то странно представить, что в маленьком городке семейная женщина не стала готовить дома. Но потом, познакомившись с продуктовыми магазинами, сочли, что, если не из чего готовить, — почему бы и не отобедать в столовой, где кормят вкусно и порции дают полной мерой?

Благостно было сидеть в каргопольской столовой. Уже через день или два здоровались мы, как хорошие знакомые, и с кассиршами и с девочками на раздаче. Милые, улыбчивые, отвечавшие и по делу и на шутку без кокетства, развязности или жеманства, эти девочки держались и говорили с естественной простотой, работали без беготни, спокойно, но и не заставляли торчать у раздачи зря.

Однажды Зиночка, которая меня, например, особенно к себе располагала, подошла к раздаче, улыбаясь после прерванного разговора с подругами, и я не удержался, чтобы не спросить игриво-весело:

— Это вы, Зина, по нашему поводу улыбаетесь?

Я почувствовал себя пошляком, когда Зиночка с той же улыбкой и с какой-то наивностью взглянула прямо мне в глаза и ответила:

— Нет, я не про вас... — И боясь, наверное, что мы вправду как-нибудь не так истолкуем ее улыбку, попыталась объяснить: — Это я... свое...

И опять, не сумев сойти со взятого тона, я ей подсказал:

— Вы улыбаетесь своим мыслям!

— Да, — подтвердила она, — своим мыслям улыбалась.

В ее словах было отнюдь не нежелание, а неумение, незнание расхожих приемов вести разговор незначащего легкого стиля с мужчиной, тем более с заезжим "клиентом" ее

столовой, и была простота, прямота реакции, когда вопрос не истолковывают, исходя из ситуации, а воспринимают его непосредственно и живо и также непосредственно на него отвечают.

В столовую заходили погреться и пожить, а может, и побыть среди людей. Собака могла спокойно улечься на полу поближе к раздаче — так было ей, наверное, теплее от близкой плиты. Другая бродила между столами и всепонимающими глазами праведника смотрела вам в лицо, так что делалось стыдно за свои гигиенические привычки, не позволяющие кормить бездомных грязных псов среди общественной столовой, бросая им куски. Правда, чем кормить? Мяса с косточкой не было, леца не дашь, черный хлеб собака нюхала и не брала. Только однажды, когда Татьяна вымазала хлебом тарелку с остатками масла, псина аппетитно сожрала кусок и сразу же удалилась. У одной из собак была совершенно кошачья привычка протискиваться под стол между сидящими, тесно прижимаясь своими боками к людским ногам, — чтобы обратить на себя внимание. Когда шел дождь и собака была мокра, столь тесный контакт с животным особого удовольствия не доставлял. Один из посетителей, пожилой мужчина, постоянно гонял эту собаку, и я однажды наблюдал, как, войдя в дверь, она огляделась, увидела, что ее недоброжелатель здесь, подумала, и, сообразив, что он занят борщом и ее не замечает, быстро пробежала к нашему столу и обычным приемом под него подлезла.

Как-то раз, вымокшие под дождем и уставшие, мы ослабленно сидели в столовой и наслаждались горячей вкусной едой и самой возможностью посидеть. Внезапно нечеловеческий крик подкинул нас на наших местах — черная воющая собаченка в жутких корчах извивалась на полу, в черном же комбинезоне фигура молодого парня над ней еще разворачивалась в футбольном движении, отводя назад ногу, нанеся только что свой кинжальный удар, собаченка, визжа и рыдая, быть может, и на издыхании, подбирала неподвижную заднюю часть под себя, выбрасывала, как в

судороге, вперед две живые передние лапы, и так, будто была мохнатою гусеницей, выпалзывала к дверям и наружу. Там затихал ее визг. Парень уже вернулся к тому, как стоял за мгновение до этого, — затылок в затылок, в середине очереди из пяти человек, передний из которых отходил сейчас от раздачи с подносом. Все продолжалось прежним порядком. Зиночка протягивала руку за чеками, кассирша звенела мелочью, сдавая сдачу, за столами продолжали есть мужчины, женщины и детишки, динамик на стене, который не выключался, говорил, возможно, о новых успехах труженников области или, возможно, о новых успехах разрядки...

## IX

Каргополь наводнен собаками. Они здесь всюду. Они ходят по улицам, перебегают с места на место спокойной трусцой, иногда поигрывают друг с дружкой, но чаще всего лежат. Нередко среди дня на каком-нибудь перекрестке собак в поле зрения оказывалось больше, чем людей. Встречаются всюду и кошки, которых, вероятно, столь же обильное количество, как и собак, только кошачий образ жизни более скрытен, и, стало быть, эта часть городского населения не так заметна. Мы идем по городу, и Юра через каждые полсотни шагов начинает подсвистывать "фью-фью" собаке или приговаривать кошке "кс-кс". Собака подходит, торкается в пустую ладонь, Юра треплет псовую шкуру, и четвероногий каргополец снова не спеша отправляется по своим собачьим делам. А собака, дремлющая на краю канавы или под забором, на Юрин посвист медленно поднимает голову, укоризненно смотрит — "ну, на кой ты меня потревожил?" — и вновь укладывается мордой в лапы. Кошкам тем более не до людей, и на "кс-кс" отвечают лишь молоденькие котята.

Выходим к колокольне и к знаменитым церквям по обе стороны нее. Уже пять часов, мы не успеваем попасть ни в музей, ни в церковь Рождества Христова, которая тоже открыта как часть музея. Идем и к другим местам — к резным апсидам Благовещенской, к разбросанным окошкам церкви Рождества Богородицы, к Воскресенской. Все они хороши, и нам по первому беглому взгляду ясно, что ехали не зря, что будем еще вокруг и внутри всех этих церквей ходить-бродить, возвращаться, смотреть, обсуждать, вникать и все чего-то не понимать, фотографировать и снова ходить и смотреть, созерцая и размышляя, или просто сидеть на ступеньках без мыслей и желаний — тут к этому располагало. Так у нас и было до самого отъезда из Каргополя. Но я не пишу об известных каргопольских красотах, написано о них за сто с лишним лет немало, напишут и еще. То, что сделано в недалеком прошлом и делается сейчас — это совсем другое, и почему-то получилось, что во всю поездку нашу по Каргополю виденья недавнего прошлого и реальность дня сегодняшнего оказывались впереди красот бывшего и нередко заслоняли их.

Тут все зависит, оказывается, от точки зрения. Или, скажем, настроя мозгов. Посмотришь так и подумаешь этак, глядишь, — и красиво, и приятно, и умирительно. А посмотришь по-иному, задумаешься о другом, — и хватает тоска, и гложет бессилие, и красота уже не красота, а тлен и прах. Не хочу вдаваться в полемику, но вот читаешь первые строчки путеводителя: "Приезжая в Каргополь, погружаешься в тихое очарование этого небольшого северного городка". Можно ли с этим спорить? И мы хотели в него погружаться, и нам удавалось погрузиться не раз и не два в выпшенаванное очарование. Мы и ехали сюда за ним, за очарованием. Но, положим, напишется так: "Приезжая в Каргополь, погружаешься в мертвую сонливость этого небольшого северного городка". Написалось, и я готов сам в себя бросить первый камень. А написалось не зря. Потому что чувствовалось так и виделось, и мешалось такое чувство с очарованием, подавляя его, и становилось не по себе — от

себя ли? от окружающего? Я, наверное, и до сих пор не понял этого\*.

Как и все туристы, экскурсанты, путешественники, мы были вооружены фотоаппаратами и была у нас пленка — цветная и черно-белая. На цветную так и не снимали — серенькое небо и ежедневные дожди не дали нам ею воспользоваться. Но на черно-белую стали снимать, причем больше мы с Таней, потому что у Юры все здесь было отснято еще в прошлый его приезд, и отснято профессионально. И Юра с полным знанием дела давал нам советы: "Можно снимать вот оттуда. Тогда обвалившийся угол будет не виден".

Это были хорошие советы, и я сам всегда выбирал ту точку зрения, откуда красота виделась наиболее явной. Но на этот раз у нас зашел почему-то такой разговор:

— Без обвалившегося угла — это для книги, — сказал я, — такое фото уже есть. А может, снять как раз такое фото, как раз с этим самым углом, а? В конце концов, я его вижу, и меня бесит, почему недавняя реставрация сделана так халтурно, что все снова рушится? Будет у меня фотография, которая соответствует моей непосредственной реакции вот в этот самый момент, на этом самом месте, когда мне виден этот несчастный угол!

---

\* Должен сделать оговорку. Упомяная серию книг "Дороги к прекрасному", и в частности ту, которая здесь цитируется, я нисколько не имею в виду что-либо худое. Эти книги делают в общем доброе, полезное дело. И мне самому они дали много ценного. Другой вопрос, что тема "прекрасного", как и под этим углом зрения подобранные факты, да к тому же строго проверенные по принципу "что пройдет", дают информацию неполную, одностороннюю. Мои записки не отражают этой информации, они ставят с ней рядом другую. Так что получается как бы два "антифона", которые исполнялись противопоставленными друг другу полухорами в древнегреческом театре. Мой "антифон" повествует параллельно и в контрасте с полухором, звучащим в "Дорогах к прекрасному". Оговорюсь также, что я умышленно не называю цитируемой книги и ее автора, но хочу подчеркнуть, что это в целом хороший труд — как с познавательной, так и с литературной точки зрения.

— Я снимал для книги, руководствуясь принципами социалистического реализма! — быстро ответил Юра, и мы расхохотались.

А ведь верно! Именно исходя из этих принципов пишутся и, главное, нравятся в редакциях книги, ведущие "по дорогам к прекрасному", на этих принципах строятся фотоальбомы о старой русской архитектуре, да и мы сами не только фотографировали, но и смотрели и осмысливали увиденное с точки зрения социалистического реализма.

На этот раз все было не так. Что-то с нами произошло.

Мы идем по городу и стараемся взять в толк, что означают эти большие деревянные дома о двух этажах явно общественного назначения, стоящие абсолютно пустые, даже без мебели за полуразбитыми окнами? Общежития, школьные интернаты, опустевшие на лето? Наверное, и они тоже. Но число таких домов слишком уже велико и они, вместе с множеством пустых, обветшалых, а то и рухнувших уже домов поменьше, вместе с обезглавленными и забитыми церквями, придают, действительно, городу "очарование" — Острова мертвых... А на центральном пятачке рушат старое по плановому начертанию: что-то здесь будут строить, обновлять лицо древнего города. Что же построят? Вот на одном из главных углов построили уже "Дом быта № 2" — большой и дурной кирпич, из кирпичиков же белесых, из таких, как наша гостиница, и тоже с каким-то линейным узором из красного. Да и эту белокаменную дурь еще больше обезобразили отвратительными картинками плакатов размерами три на два метра!.. Где-то в стороне от известных церквей обнаружили мы еще две, стоящие рядом, вероятно, зимнюю и летнюю, как обычно и строили. Не сразу догадались мы, что это церкви, — настолько плачевно их состояние. Традиционно-церковные очертания проглядывали лишь в формах основного куба, ни главок, ни самого верха от прежнего времени не осталось и в помине, апсиды были прорезаны, срезаны, раскрошены. В меньшей по отдельным признакам можно предположить строение XVII века, не позже половины XVIII-го, но она-то пострадала страшно: по ее восточному



фасаду как будто двинули огромной кувалдой, отбили стену, и теперь под какими-то торчащими с боков и сверху каменными кусками стояла автомашина-газик. Дальше были сделаны дощатые ворота, из-за которых пробивался свет электролампочки и неслись пьяные голоса. Возможно, это был гараж для таких вот газиков. В соседней большой церкви все окна и входы были забиты, и служила ли она чему-нибудь утилитарному — трудно сказать.

А за резными узорами Благовещенской церкви, — это уж я могу сказать, — магазин или пункт приема бутылок. Цитирую книгу: "Действительно, как всякое совершенное произведение, здание можно созерцать бесконечно, открывая в нем все новые детали прекрасного целого". И еще: "Когда же подходишь еще ближе, общее впечатление невольно разбивается видом его стен — каждая из них унижена затейливым узорочьем и каждая сама по себе прекрасна". Далее можно много цитировать еще — про то, что "оживляет" и "будоражит взгляд" и про другое. Все правильно. Но созерцающая здание, открываешь в нем все "новые детали" — изувеченные входы и торчащие столбы разрушенного крыльца, а когда подходишь к храму ближе, общее впечатление "невольно разбивается видом его стен", заваленных выше человеческого роста штабелями ящиков и видом яркой надписи, из которой следовало, что:

посуда не принимается  
6—8 нет свободной тары  
8—11 сенокос

Когда мы вошли в церковь Рождества Христова и Юра огляделся, он констатировал: "Все то же самое. Как эти леса около иконостаса стояли, так и стоят. Ничего за пять лет не сделано". Предполагалось же, прежде чем тут откроют филиал музея, отреставрировать иконостас и иконы. Некоторые иконы остались на местах — в иконостасе и на стенах. Они гибнут на глазах — живопись отслаивается, сыпется, обнажая левкас, и многие из них спасти уже нет смысла.

Другие, снятые с иконостаса, а может быть, с ними и принесенные из соседних церквей, гибнут скрытыми от досужих взоров. Они хранятся в алтарной части, но, заглянув в щель между досками, которыми защиты пустые квадраты иконостаса, можно увидеть стеллажи, на них иконы, положенные друг на друга ликами вверх, и на живописной поверхности — белую изморозь плесени, растущей широко, свободно в весьма подходящих условиях сырости, — ею так и несет из щелей.

На Соборной площади помимо архитектурных древностей есть еще две достопримечательности. Одна тоже из области архитектуры: это какие-то крашенные серебром железные, приваренные друг к другу вытянутые вверх короба с прилепленным к одной из сторон сего сооружения орденом "Отечественная война". Только орден и позволяет понять, ради чего поставили здесь это убожество. Вряд ли можно сильнее унижить идею памяти героев войны, чем установкой такой вот бездарщины. Однако в киосках Каргополя есть фото, изображающее этот памятник вполне прилично: найдена именно нужная точка зрения! — и он выглядит монументально, а сварных швов, грубой покраски и железно-ящичной фактуры не видно, и почему бы не представить, что памятник — из белоснежного мрамора?

Вторая достопримечательность не сразу видна, да зато слышна дни и ночи напролет: это репродуктор, который гремит, ударяя сотнею децибел в соборные стены, и, отражаясь, звуки его сливаются в отвратительную, безумную кашу. Прекрасная замена звону колоколов!..

Итак, все же как быть с точкой зрения? Искать объективное равновесие между черным и белым, между добром и злом, меж красотой и безобразием?

Боюсь, что если начнешь искать, то не найдешь. Равновесия нет. Всегда и во все времена стрелка, помещенная между чашами весов, на которых взвешивается все, что относится к противоположным сторонам нравственности и эстетики, к духу человеческому вообще, — эта стрелка не бывала неподвижна. Всегда она клонилась в ту или другую сторону.

Стало ли что-то с моими глазами? Стало ли что-то с моим сознанием? Но, путешествуя по Каргополью, всем существом своим чувствовал я движение этой стрелки туда, где пустое, бесцветное, темное, безрассудное...

## Х

Каргопольский район обладает немалой площадью, по карте можно прикинуть, что будет здесь, примерно, восемь тысяч квадратных километров. Леса, болота, озера и речушки, луга и сколько-то обработанных полей. На всей этой глухой территории распластался, если смотреть на карту, красненький пляшущий человечек, головка которого — город Каргополь, а задранные руки и расставленные ножки — четыре дороги, идущие в разные стороны света. По этим дорогам только и можно перемещаться. Около этих дорог и теплится жизнь, которая сколько-нибудь ощутима в сельсоветовских деревнях и почти незаметна в деревушках, расположенных по тем же дорогам, километрах в десяти-пятнадцати от совхозных и колхозных усадеб. Эти деревушки люди покидают. Брошенные, заколоченные, разрушенные избы — на каждом шагу по всему Каргополью, они сейчас неотъемлемая часть местного пейзажа.

Рано утром, в семь часов, каргопольские автобусы разъезжаются на все четыре стороны. Часа через два-три достигнут они окраинных земель райисполкомовских владений и вернутся обратно. Вечером, часов в пять, они вновь совершают такое же путешествие. Подобное расписание вполне соответствует здешнему темпу жизни: есть, положим, у человека в городе какое дело — в больницу съездить, за справкой в собес, в магазин, — на это надо потратить не меньше дня, даже если дело получасовое, а живешь ты от города в двадцати километрах. Бывают, правда, попутки.

Но они редки, на них уже не надеются. И, главное, "куда мне нужно торопиться, сагиб?" Фразу эту из притчи, рассказанной мне одним литовцем, побывавшим в Индии, мы повторяли, разъезжая по Каргополью, чуть ли не каждый день. Притча преподносилась как действительный эпизод на дороге где-то в индийской провинции. Литовский путешественник, ехавший в легковой машине, остановил шофера, когда увидел необычайное зрелище: подводу с колесами почти квадратной формы. Подводу медленно тащила пара волов, погонял их старый крестьянин. "Скажите ему, — обратился европейский гость к переводчику, — если срезать на этих колесах углы, то подвода пойдет намного быстрее!". Волы остановились, крестьянин внимательно выслушал совет европейца, и, сложив руки перед грудью, почтительно склонил голову. "Благодарю тебя, ученый человек, — сказал старик. — Ты мудр, и если сделать так, как ты говоришь, мои волы, я верю тебе, и вправду пойдут очень быстро! Но прости мою глупость: не понял я, куда мне нужно торопиться, сагиб?".

В самом деле, куда? Здесь, под Каргополем, ни дорога этого не позволяет, ни люди этого не хотят. Кому не нравится такой темп — уезжают совсем. Остальные к нему приспособлены. Их бытие слито воедино с медленным течением дней и недель, когда выезд в соседний, рукой подать, Каргополь, — отбирает сутки. Разумеется, каждый готов посетовать, что дороги плохие, что автобусов мало, что завозы в магазины редки. Но трудно себе представить, что бы произошло, если бы здешняя жизнь внезапно интенсифицировалась? Это была бы настоящая катастрофа для здешней округи. Так и хочется сказать — запили бы от беспокойства и нервного напряжения, но ведь пьют непрерывно сейчас — отчего? От излишнего спокойствия и нерастраченной нервной энергии? Поди вот, разберись!..

Единственно, кому есть "куда торопиться, сагиб" — это нам, приезжим туристам. Мы вносим разлад и нервозность в ход времени этих краев, где и течение реки Онеги быстрее течения жизни. В семь утра десяток-полтора очкастых-боро-

датых бегают вокруг автостанции от одного приходящего автобуса к другому, читают на их боках таблички: "Лядины", "Троица", "Ухта" — по-двое, по-трое, как на приступ, кидаются в едва успевшие открыться дверцы, хлопаются на сиденья — и тут только с удивлением обнаруживают, что, кроме них, в автобус неспешно влезли еще две бабки с лукошками, — по грибы они едут, — да, может быть, девчонка или пара парней, которым ехать всего лишь до маслозавода, что в пяти километрах за городом.

Первый наш выезд был в деревню Саунино — это совсем рукой подать, и обратно в город мы вернулись своим ходом — не ждать же вечернего рейса! В деревне шатровая церковь и рядом с ней колокольня — тоже с шатром. Направляясь через деревню к церкви, мы стали обходить разъезженное, утопающее в грязи широкое пространство, на котором были разбросаны различные навесные и прицепные орудия, бортовые прицепы и множество костей от железных скелетов давно умерших механизмов. Прошли на окраину, где до церкви оставалось около полусотни шагов, и поздоровались с крепким, ладным, похожим на Николу Чудотворца стариком, который перед своим крыльцом лихо колот березовые поленья.

- Откуда? — спросил он, глядя на нас приветливо.
- Из Москвы.
- А-а. Думал, из Ленинграда. Я сам ленинградский.
- Что ж уехали?
- К сыну. Шесть лет живу.

Перекинувшись еще несколькими фразами, спросили, как, мол, живется, похвалили здешнюю природу, покой и красоту.

— Церковь у вас тут хорошая, мы ради нее сюда шли, посмотреть.

- А, ну посмотрите, конечно.

Пожелали друг другу здоровья, и мы свернули к церкви. Но не тут-то было: широченный, длинный ров, заполненный бурой водой, перекрывал все ближайшие подступы к церкви. Пришлось возвращаться вдоль этого рва, утопая в отта-

лах раскисшей земли, назад к тому двору с сельхозтехникой, который мы столь старательно обходили. В общем-то, ничего страшного — лишние десять-пятнадцать минут, чуть больше грязи на сапогах. Только почему же симпатичный старик, чей дом стоит у самого рва, не сказал нам, что к церкви здесь не пройти? Ну, люди, которых встречали мы в деревне и которые не могли не видеть, что эти двое (Таня и я) идут, конечно же, к церкви, куда идут все нездешние — ну ладно, встречным, в конце концов, могло быть и не до нас, могли они и не любить туристов. Но старик, с доброжелательностью говоривший с нами, он-то зачем промолчал?

Хвалят северную немногословность. И в мире, запруженном множеством слов, немногословность, наверное, может стать своего рода моральной ценностью. Но мир запружен и всеобщим безразличием. И когда немногословность естественно сходится с безразличием, — не хочется ее хвалить. Не за что.

К церкви пришлось побежать бегом: издали увидели, как женщина выпустила из нее двоих посетителей и стала закрывать дверной замок. Остановив ее, попросили снова открыть, и довольные, что нам повезло, мы вошли внутрь. Тут было чисто, сохранилось небо с апостолами, стояли пустые иконостасы, в трапезной лежали мешки с семечками подсолнуха. Не задержавшись долго, вышли, и наружный осмотр был более огорчителен: сруб оседает и клонится, особо же плохи дела с колокольной, которая вся скособочилась, бревна пучатся где-то на середине ее высоты. Если так все будет оставлено, стоять колокольные уже недолго. А рядом угрюмый барак не то мехмастерских, не то гаража, расхристанные тракторные колеи, и какому-нибудь здешнему механизатору ничего не стоит задеть своим стальным конем хилую колоколенку, — обрушится вниз, как в реку рушится пакет молевого леса... Механизаторы, человек пять, стояли в открытом проеме барака, глазели на нас и покуривали все те часа полтора, пока мы осматривали церковь, фотографировали и сидели под церковной стеной, пережидая дождь.

На обратном пути завернули в лес и поживились земляникой, но стало одолевать комарье. В веселом расположении духа я принялся вдруг петь, — засел в голове репродуктор, который орал накануне с Соборной площади шалашинским голосом арию из "Дона Карлоса", вот я и начал было имитировать, но осекся: перед пенечком сидели за едой те двое, что покинули церковь незадолго до нас.

— Пардон, — спохватился я, — нарушил ваш покой!..

— Ничего, ничего, — сказала женщина. И она и муж ее были смущены не меньше меня. — Трапеза вот...

Позже, в гостинице, мы с ними разговорились. Они из Киева. Усатый, очень застенчивый мужчина лет сорока с лишним — архитектор и художник. Каждый год они едут на Север и не мыслят себе другого отдыха. "Севером обязательно заболевают", — сошлись и они, и Юра, и Таня, а я — черт бы побрал меня, набитого, как опилками, критицизмом! — я промолчал, но улыбкою соглашался со всеми.

## XI

В селе Ошевенское тоже шатровая деревянная церковь и рядом колокольня, есть здесь и маленькая часовенка, но по приезде сюда Юра повел нас по дороге в сторону, к деревне с весьма позорным названием, хотя, возможно, здесь оно означает и нечто иное, чем знаем мы, — Холуи. Там сохранились курные избы, и их стоило посмотреть. Кроме того Юра, как он нам поведал, следовал девизу: "Ни дня без захода!" — то есть всегда использовать случай поговорить с местными жителями, зайти в деревенский дом.

Холуи раскинулись за оврагом, который был ложем пересыхающего ручья. Избы, амбары и баньки — все из почерневших крупных бревен — были как лезущие из земли валуны. Выше и ниже, вдоль склона, у дороги и дальше к по-

лю, — всюду стояли их молчаливые утюжки, насупленные, не то страшноватые, не то смешноватые. Лил дождь и тушевал сероватым и зелень, и глинистую дорогу, и, вместе с темными массами срубов, все превращал в один нечеткий отпечаток — со старой, потерявшей резкость контуров, ксилографической доски. Косилась на разъезде у моста рухнувшая кровля огромной избы — деревянный дымник говорил, что она-то и была курной или "рудой", как тут говорят. Еще забитая, еще гниющая изба. Вдоль проезжей улицы поживее — тут люди. Идут три женщины.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте!

— Не знаете, у кого тут можно купить молока?

— Не знаем.

И проходят прежним медленным шагом, не глядя.

Ходим, осматриваемся, встречаем с тем же вопросом еще кого-то.

— Не знаю, у кого корова есть.

И тоже идет мимо. Наконец увидели бабушку в огороде.

— У меня-то нет, а вон в том-то доме спросите.

Дом, на который она указала, был интересен — стар, велик, с подклетью, и зайти в него было бы неплохо. Постучали, открыла живая бабка лет за шестьдесят.

— Молоко? Есть молоко-то... Да я тороплюсь. В сельсовет.

— Не задержим, бабушка, напьемся и сразу пойдем. Не пустите войти-то?

— Ладно, войди-тя.

Жилое было только внизу, в подклети. Тут была и кухня, и комнатуха. С женщиной жил сын, который, как она рассказала, охотится. Над кроватью, где сын, надо думать, спал, висела длинная, в метра полтора, плотно нанизанная гирлянда прямоугольных кротовых шкур. Мы попили молока, наскоро заели взятыми с собой бутербродами. Не сидели долго, и посмотреть избу не удалось. Никак не хотела хозяйка проводить наверх, но ведь и уговаривать неловко, да и торопится она. Расплатились по цене, ею названной,



из расчета тридцать копеек за литр, из вежливости добавили лишнего, она тоже с вежливостью отказывалась. Довольные друг другом распрощались. Потом удивились двум вещам: чего ради люди живут в подклетье, под низким потолком, в каком-то закутке. А ведь сюда и телевизор поставлен, и холодильник большой, и радио играет. Решили мы, что удобней: меньше копошения по дому и топить меньше. Гнездо, где и шкурки, и постель, и еда, и вся цивилизация — чем плохо? И второе, чему удивились, это тридцатикопеечному молоку: московская цена, неужто оно здесь так дорого? Или у туристов так берут?

Пошли по деревне и набрали на двух стариков, которые ни дать ни взять явились с какой-нибудь иллюстрации к "Сорочинской ярмарке". Два стареньких дружка стояли, одинаково опираясь на длинные, по грудь, палки, оба низкорослые, но один кругловат, краснолиц, другой — худоват и морщинист. Оба с одинаковым подслеповатым любопытством поглядывали на нас.

— Здравствуйте! — поздоровался каждый из нас.

Дедушки неуверенно качнули головами и что-то прохрипели.

— Не скажете, кто-нибудь в деревне плетет из бересты?

Кругловатый приложил к уху раковинной ладонь. Вот оно что — туговат на слух! Теперь мы кричали, и начавшийся диалог наш двинулся к цели по известному образцу: "Здорово, кума!" — "На рынке была". — "Как зятек поживает?" — "Несу петуха!".

— Из бересты! — кричали мы.

— Далеко? — переспрашивал дед.

— Кто плетет? из бересты? — в самое ухо ему выстреливал я.

— А! — услышал он и засмеялся. — Никто. Слышь? — обратился он ко второму.

— Чего хотят-то? — спросил у него худоватый, который до сей минуты терпеливо ждал, пока дойдет черед до него.

— А плетет кто? — приложившись лицом к его шее, прокричал кругловатый. — Ай не-ет?!

— А! — сказал второй и тоже засмеялся. — Плетет, плетет! Там, на конце, идитя, Федор плетет! — И закричал дружку: — Федор, Федор! плетет!

— А не помер? — смеялся кругловатый. Глаза у него слезились.

— На конец идитя! — махал палкой второй дедок, и его смеющиеся глаза тоже плакали.

Пошли "на конец", но свернули к трем большим, по всем признакам бывшим курным избам, которые стояли в стороне, у спуска к пойме ручья. Из крайней выходила молодая женщина, и мы спросили у нее, старый ли дом, когда построен.

— А я и не знаю. Давно. Они знают, — кивнула она в окна соседнего дома. Мы обернулись. В маленькое оконце, высоко над землей, живописно komponуясь с перекрестием рамы, были видны три головки: женская в платочке, русоволосой девочки и ушастого котенка.

— Теть Мань, когда ваш дом построили? — покричала стоявшая с нами молодая.

— А там написано, — донеслось из-за стекла.

— Да-да, — вспомнил Юра, — вырезано на бревнах. — А скажите, курная была? — прокричал он к окну.

— Курная, — ответили оттуда.

— Можно будет зайти?

— Что нельзя, — заходите, — был спокойный ответ.

Но тут из первого дома вышла старуха, молодая стала спрашивать у нее про время постройки избы, та тоже не знала, мы зашли с торца, и на традиционном месте — на выступающем резном подкрышном бревне с трудом смогли увидеть: 1884. Кажется, прочитанная вслух эта дата произвела впечатление и на обитателей дома. Мы попросились к ним. Старуха помнила еще, как выглядела изба, когда была "рудой", с черным от копоти верхом. Потом, много позже, сложили печь. Сейчас тут все оклеено обоями, полы крашеные, чисто, просторно. На стенах множество фотографий, в углу — Богоматерь с младенцем.

— Я-то не здешняя, — охотно говорила старуха. — Как

привезли сюда — плакала я, плакала! Забрали из дому! Каково в чужую деревню уходить? Ну да, замуж вышла! Муж председатель был тогда сельсовета! Как увидела избу — черная-а-а, ах ты, несчастье какое! Привыкла, что делать будешь, привыкла! Восемь детей вырастила, вот! Никто разбойником не стал, сыновья! Все люди. Не сидели никто! Этот вот в Мурманске, — это он с женой и внучек двое; а этот — он в Донбассе, и дочь там, врачом тоже выучилась, — этот нынче в Северодвинске шофером, а тут-то он в армии, на снимке, три года как вернулся.

— А с вами кто? Вы ведь тут живете? Вы — дочь? — спросил я у молодой.

— Нет, мы отдельно, у нас дом здесь тоже.

— Сноха она, сноха! Приходит! — подхватила старуха. — Никогда не ругаемся, другие удивляются, все советуемся, — чтоб ссориться — нет этого, правду говорю!

— Ба-а-а, пойте-е-м, — затянула девочка. — Ба-а...

— По грибы зовет, пойдем сейчас, пойдем, — сказала бабушка.

Слушать ее нам было любопытно. Становилось понятно, как складывалась жизнь таких вот изб, вроде этой. Строилась когда-то хозяином на большую семью. И семья росла — шесть, восемь детей было, надо полагать, и в предыдущих поколениях, а не только у оставшейся этой старухи. И вот на последнем поколении, возросшем в этой избе, произошли перемены. Сперва стала не слишком нужной хозяйственная часть гигантского сруба: не стало, с началом колхозов, лошади, которая по взвозу втаскивала наверх телегу с сеном или с зерном, потом не стало обильной скотины, которую загоняли вниз, в амбарное подклетье. А позже и жилая часть такой избы с ходом последних десятилетий становилась все более ненужной: дети обретали самостоятельность, получали городские специальности и уезжали. Оставшемуся в деревне сыну — нужно ли ему заботиться о таком огромном строении, которое дряхлеет день ото дня и все больше требует хозяйских рук? Мужчине не до того — он свой рабочий день проводит в колхозе. И ему удобней срубить или

перекупить небольшой дом — на две, три комнатки, где он свободно размещается с женой и детьми.

— У вас одна дочка?

— Не-ет, — отвергла молодая мое предположение так, будто я предположил что-то очень обидное, — двое!

— А есть по деревне, у кого много?

— Есть. Пять.

Юра продолжал расспрашивать про избу.

— Значит, если по году судить, строил не муж, а его отец и свекор ваш? — спросил Юра у старухи.

— А нет, свекр здесь не жил. Тута — это — раскулачили. До меня еще. Выселили, когда дом пустой был, а мой председателем сельсовета был, тут и сельсовет сделали.

— Ба-а, — тянет девочка.

Но мы, прежде чем уйти, подходим еще к иконе и обсуждаем со старухой достоинства письма и оклада. Икона простоя, но мы ее хвалили.

— У всех тут иконы?

— У всех, у всех! У меня-то одна, а у них вон, — кивает она на соседний дом, — у них много. Староверы они. У них и железные. И книги есть. У меня тоже книги, — с гордостью говорит старуха — много, спрятаны, а то б дала, где лежат — не знаю. А подождите!.. И она открывает дверь в сени, а потом и вторую, в амбар.

Видит Бог, мы не просили ее, — но она взяла с лавки, засыпанной трухой и пылью, какой-то слипшийся плоский брикет и протянула нам. Это книга, вернее, то, что осталось от нее: пачка страниц без переплета, бумага, которую грызли мыши, поливала вода, засиживали птицы и покрывала глинистая грязь. Такие книги валялись, видели мы раньше, по разрушенным церквям, среди остатков иконных досок и утвари. Но как довели до подобного состояния книгу в условиях дома?

Мы берем ее с благодарностью, оборачиваем газетой и кладем в небольшой рюкзачек, который носим с собой. (Ливший без перерыва дождь, как потом оказалось, добавил свое: страницы в рюкзаке подмокли в последний раз.)

— У меня дома есть книга, — говорит молодая. — Я бы принесла, некогда сейчас.

— А мы часа два проходим. Не уезжаете? — спрашивала старуха.

— Придем, я вам найду, приходите, приходите, дам!

Благодарим опять. Прощаемся и расходимся в разные стороны: они идут к мосту, а мы к соседнему дому.

Снова снимаем резиновые сапоги перед чистотой домотканых дорожек, хозяйка тихим голосом говорит: "Проходите". Этот дом выглядит еще более прибранным. Кроме хозяйки — небольшой, приятной своей спокойной молчаливостью и вежливым вниманием женщины лет сорока, — в доме девочка дошкольного возраста и сидящая недвижно на лавке близ окна грузная, неподвижная старуха, которая на наш приход лишь медленно повернула голову.

Женщина, продолжая у печи свою работу, отвечает нам немногословно, но с подкупающей простотой — что знает, то и говорит, не знает — чувствуется, что и правда не знает. Мы опять расспрашиваем, как было в доме, когда топили "по черному", спрашиваем про хозяйственный двор.

— А бабушка нам не скажет?

— Она уж не может.

— Да-а, старенькая очень она у вас...

— Она тут не жила.

— Не жила? Значит, семья ее мужа тут была?

— Ее из того дома пустили.

— Из того?! Там... Нам сказали — там раскулачивали?..

— Ну.

— Бабушка жила в том доме?..

— Замуж туда вышла. Их выслали.

— А ее — почему?..

— Она из другой деревни. Недолго как колхоз сделали.

— Понятно. Посчитали, что она не кулацкой семьи. Так наверно?

— Так. Живет у нас.

В окно было видно, как за реденькой марлей дождя через поле, на той стороне овражка, двигалась по направлению

к лесу цепочка — впереди молодая, за нею — бабка, за нею — девочка, а за нею собачка. Будто в сказке: "за бабкою — внучка, за внучкою — Жучка"... Куда как весело! И подумалось, что не будем, наверно, ждать два часа, пока они вернутся, и тут сразу же на ум пришла догадка, которая сводила многое разрозненное воедино: в том доме тоже раньше, до коллективизации, жили староверы. От них там и остались книги, — уж, конечно, председатель сельсовета, перебравшись в дом раскулаченных, не тащил с собой религиозный дурман! Но и выкидывать их не стал — все же мужик он был, а не политработник! Вот и валяются по сей день под поветью или в углу, в засундучье. И потому-то старуха легко готова их отдать, — небось, совесть гнетет за недоброе, а божественные книги у ней чужие, да пропадают и пропадут совсем, когда помрет, лучше отдать пришлым людям, снять с себя обузу, унесут — и слава Богу!.. Небось и так про нее много разного говорят по деревне. А эту бабушку сюда и взяли — своя она, единоверка, пред Богом нельзя оставить в беде...

Здесь в красном углу висела тоже только одна иконка, но в маленьком закутке перед печью стояли на полке складни и медные кресты — один из них великолепный, едва ли не в локоть размером, с эмалью. Когда я стоял перед ним и пытался разобраться в сюжетах большого складня, свет загородило тенью. Рядом стояла старуха. Ее рука протянулась мимо меня и с нижней полочки, где стояли какие-то банки-склянки, взяла крестик и обломок складня, которых я до этого мгновения не замечал. Бабушка отошла, и я, заливаясь стыдом, что меня заподозрили в нехорошем, отошел за нею следом, говоря:

— Бабушка, вы не волнуйтесь, пожалуйста, не тронем ничего, — скажите ей, — обратился я к хозяйке.

— Пускай. Это она свои прячет. Боится, — ответила мне женщина и успокоительно усмехнулась: что, мол, обижаться, старьй — что малый.

— Бабушка, — продолжал я, однако, — да отнесите обратно!

Не знаю, слышала ли она, но только взглянула исподлобья, — иначе и не могла, согнута была слишком, — и резко махнула на меня, как если бы говорила: сгинь!

Все в этом мире было для нее нечистой силой, которая только и делала, что стремилась украсть ее Бога. Но она, у которой взяли все — дом, семью, молодость, — Бога не уступала. И прятала теперь вот за створку шкафчика. Сохраннее будет.

Дождь, когда мы вышли, припустил сильнее, и мы довольно долго пережидали его у крыльца одного из домов. Так и не разыскав Федора, который плетет, отправились обратно в Ошевенское, и сперва оказались у более близкой к нам часовенки. Юра пошел в избу напротив спросить, где ключ, но вместо этого вернулся с предложением попить молока. Пили мы его, второй раз за сегодняшний день, у словоохотливой бабки, которая, похоже, была чуть-чуть не в норме, она и сама признавала, что после гриппа голова стала плохая. От этого ли, но смысл ее быстрой речи, при тяжелой дикции и местном выговоре, ловился с большим трудом, а слушать приходилось внимательно, потому что говорила она немало интересного — и как раз про молоко и про то, почему оно стоит тридцать копеек. Оказывается, тридцать копеек — это закупочная цена, по которой берут молоко на маслозавод. Если жирность слабая, то и цена меньше, двадцать пять — двадцать семь, а если высокая — выше трех, к четырем процентам, — то надбавляют за жирность, и тогда и получается тридцать. А хватает кормов? — мы спросили. Оказалось, что и сейчас, когда такая буйная трава, и зимой, когда сено, хватает вполне, да от травы-то жидкое молоко. Откуда же у вашей жирное? — Как откуда? — отвечает бабка. — А хлеб? Хлебом кормим, иначе жирность не наберет.

Мы, профаны в сельском хозяйстве, откладываем эту новость в своих умах, пока про запас, чтобы потом обдумать, а бабка уже несет что-то несусветное: была раньше другая корова, дойная, нынешняя дает двенадцать литров, а та — пятнадцать давала, а пришлось на мясокомбинат

свезти, есть перестала, ветеринару показали, не нашел ничего, а посоветовал свезти, пока вес есть, повезли, а там тоже на приеме говорят, зачем такую корову резать хотите, а дочка плачет, режете, говорит, ну ладно, вскроем, посмотрим, не больная ли она, а дочка — не больная, — говорит, — как ветеринар велел, а открыли желудок, а в нем от такая проволока — а? — проволока, вот! — и где наелась? — а потом у председателя, у них яловая была еще, мяса не нагуляла, то же самое, уж так не советовали, сколько денег потеряешь, все ему говорили, а у ней проволока в желудке была, вот как, и откуда? — а дочь из Каргополя ехала, говорю, хлеба-то привези, белого, у нас не бывает, редко, привезла, буханку режет, мам, говорит, в хлебе-то, посмотри, червяк — а посмотрели, проволока вот такая, не червяк это был, — и откуда это, а?..

Откуда проволока в хлебе, трудно сказать. Мог электромонтер чинить проводку в пекарне, да с потолка уронить в квашню. Особенно, если работал в подпитии. А откуда проволока у коровы в желудке, на это ответить проще: по крупным деревням все заброшено железом, обломками механизмов, гвоздями, обрывками проводов, да и сами жители обкручивают заборчики и плетни все той же проволокой. Корова, срывая губами траву, не слишком разбирает, что в траве накинано человеком, а что от природы.

Бабка угостила нас к молоку обворожительным открытым пирогом с клюквой. Таня побеседовала с ней о том, как клюкву хранить зимой. Расплатились, теперь уж все понимая о ценах на молоко, и, простившись, отправились к церкви.

Но, понимая о ценах, не понимали экономической мудрости, за этой ценой стоящей. Тут бы надо знать, сколько хлеба съедает в сутки корова. Высокая жирность дает на литр прибавку в несколько копеек, за дневной удой, возможно, прибавка эта около полтинника. Но килограмм ржаного хлеба стоит пятнадцать копеек! Но если это выгодно, чего орут со всех газетных страниц про тех, кто скармливает хлеб скотине? Возвращается-то он тому же государству



уже в виде жира, нешто плохо? Глупо, конечно, скармливать выпечной, который годен на стол человеку, а разве дают для личной скотины зерно? Разве позволяют сеять зерно для нужд своего хозяйства?

Травы в том краю — изобилие. Нивы — тощие, запущенные, и чем же еще подкармливать скот, как не хлебом?

И вот из лавки с прелестной вывеской: **ТОВАРЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА** несут десятилетние девчонки авоськи с буханками — я насчитал, что по четырнадцать штук за раз. Все почему-то хотят получать от коровки жирненькое молочко. А хлеб не всегда бывает. Спрос повседневный, а товара-то нет.

Здесьнюю церковь мы осмотрели только снаружи. В библиотеке, куда мы обратились в поисках ключа, сказали нам, что внутрь церкви не пускают из-за ее аварийного состояния. Там балки висят, — сказала библиотекарша, — может убить.

Мы могли продолжать начатый скорбный список. Накануне узнали, что в дальнем селе Астафьеве рухнула деревянная церковь XVII века. "Формы ее поражают предельной простотой и величавой суровостью", — пишется о ней в путеводителе. Уже не поражают.

Церковь в Ошевенском пока еще "производит суровое величественное впечатление". Но и ей — как долго до слова "не"? На всех этих прибитых к стенам церквушек ржавых жестянках с полусмытыми надписями "Охраняется государством" и "Повреждение памятника карается законом" можно было бы писать много проще: **ПОВРЕЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ**. Оно и короче и соответствует истине, так как никем не наносится столько вреда этим памятникам, сколько государством, бросающим их на произвол постепенного разрушения. Реставрируют кое-где, кое-как, но церкви рушатся, горят, сникают, клонятся, падают деревянные главки. Север — край умирающих маковок.

Юра стоял у кассы автостанции и, нагнувшись к окошечку, расспрашивал кассиршу о нужном нам маршруте.

Кроме нас на автостанции не было никого. В середине дня здесь полное затишье. Но вот оно нарушилось компанией человек из пяти-шести мужиков, прошедших от дверей прямо к кассе, и один из них тут же принялся деланно-скандальным тоном шуметь:

— Чего окно загородил? Как стал, так стоит! Взял билет и отходи! Очередь собрал какую, давай других пусти!

Юрина массивная спина не шелохнулась. Мужчина продолжал базарить, и мы не понимали — шутя или нет. Остальные никаких эмоций не проявляли. Наконец Юра выпрямился и, прежде чем отойти, взглянул сверху вниз на мужика.

— Ты сколько выпил? — спросил он.

— Сколько? Триста грамм! — весело ответил тот.

— Всего триста? Что же ты так слаб? Триста грамм, а развезло. Мужик так не пьет. Язык развязал, я думал, литра полтора выпил!

Я уже готовился к тому, как вся подвыпившая компания обдаст Юру густым матом и угрозами набить морду, и что нам придется, отбрехиваясь на ходу, побыстрее отсюда смыться. Ничего подобного не произошло. Мужичок осклабился, еще раз пробормотал "окно-то все загородил, большой!" — остальные ухмылялись вполне безобидно, всем своим видом показывая, что Юрина тирада насчет полутора литров их только повеселила, а не озлобила.

Надо согласиться, что если уж выбирать между пьяными злобными, настырными, агрессивными и такими вот добродушными, блаженно отсутствующими, вторые, разумеется, более привлекательны. И как могли мы наблюдать, в Каргополе подавляющее число пьяных именно таковы, что придает городу определенное — чуть не сказал "очарование" — своеобразие...

Город сейчас насчитывает примерно десять тысяч жите-

лей. Возьмем старух, девушек, женщин — пьяных женщин мы не встречали — добавим детишек, которых во дворах и на улицах видно довольно много, и всех их не принимая в расчет, получим тысячи две с лишним мужчин различного возраста. Это и будет хмельная часть горожан. Разумеется, есть по домам старики, которые не пьют, есть и люди моложе, которые не напиваются, но и внешнее впечатление, и наблюдения более обоснованные говорят бесспорно: пьют, в общем, все.

Я уже высказывал свои симпатии к девушкам из каргопольской столовой, которые держатся просто, разумно, доброжелательно. То же мнение складывается о молоденьких продавщицах магазина, о тех, кто на почте, но и вглядываясь в лица женщин более старших, — молодых матерей с детишками на руках, женщин среднего возраста, приходишь к выводу, что женская часть населения — без всяких шуток может быть отнесена к прекрасной половине человечества, каким оно представлено в Каргополе. Здесь в лицах и во всем облике женщин живут спокойная доброта и некая уютность, будто от печи и мягкой перины, и слово "женственность" как нельзя лучше говорит о них, хотя не сказать, чтоб были они красивы и обращали на себя внимание.

Приятно было смотреть и на каргопольскую ребятню. Здешняя детвора и подростки лет до тринадцати-четырнадцати подвижны, со смышленными физиономиями и всегда заняты какой-то деятельностью, гоняют на велосипедах, лазают во дворах по крышам сараев, шагают с сумками в магазин, и когда их двое-трое, оживленно беседуют, не в пример взрослым, которые как бы теряют с возрастом эту потребность.

Дети и ранний молоднячок заставляют как будто смотреть в ближайшее будущее каргопольского населения с оптимизмом. Но смотрели мы в самое будущее — ах, как все мы, вся страна, всегда смотрим в будущее, словно нам ни вчера, ни даже сегодня вовсе не нужны! — и смотрели, главное, мы на этих детей не с оптимизмом, а с горечью, тоской и страхом.

Уже пятнадцати-шестнадцатилетние и далее — до возраста призыва, после чего тут, кажется, всех ребятишек будто метлой выметает из города, — ходят они табунами и в одиночку с мутно-бессмысленным взглядом, неровно, с раскачкой, стучат подошвами по деревянным тротуарам, вытаскивают, ища равновесия, сапоги из грязи, и возникают перед глазами повсюду — у магазинов, у пристани и кино, на автобусной станции, у кустов в самом центре, где среди бела дня троим из них приспичило освободить себя от выпитого.

Они не скандалят, они не шумят. Кажется, даже не разговаривают. Они вовсе не возбуждены спиртным. Возможно, где-то и происходили нарушения общественного порядка, но мы не наблюдали не то что драк, а той обычной напряженной обстановки, когда один из пьяных чем-то вызвал недовольство другого, или желает прицепиться к прохожим, или же матерится в пространство. Даже танцплощадка, куда стекаются со всех сторон, не становится сейсмически опасным местом: к ней стекаются (девочки от тринадцати, мальчики начиная с возраста чуть постарше), на ней танцуют положенное время, к концу его приходит милиционер, свет два раза мигает, и еще до окончания музыки подростки начинают растекаться от площадки в обратных направлениях. Эти маленькие подростки и эти юнцы восемнадцати лет несут на своих лицах печать чего-то, нам непонятного. Даже когда их зрачки не залиты вином, стоит на лицах некая отрешенность: то ли ждут; то ли силятся вспомнить; то ли стремятся обдумать, но не могут и не умеют. Но при этом не видна работа мысли, будто они ее потеряли, и не ее ли ждут, не ее вспоминают? И это те, кто года три-четыре назад звонко галдели по каргопольским дворам, повисали на плетнях вниз головой, да при этом, как рыженький тот пацаненок, который легко и влопад смеясь, откликался на наши шуточки, — да что же с ним, с рыженьким, станет в будущем, куда все мы пристально смотрим?! Там видится, как пьет он красную погань — стакан, и второй, и третий, а на юном загривке его сидит, невидимо, вампир, и сосет —

так, как рыжий подросток сосет вино глоток за глотком, — сосет, выпивает его неразвившийся мозг, и отваливается, надувшись досыта... И идет парень по Каргополю. Глаза его мутны, лицо его отупело. Хорошо ему? Плохо? Нормально, как всем.

Молодежи от лет двадцати и мужчин, что называется "в соку", матерых, тут почти не видать. Много мужичишек неопределенного склада, ни то ни се, пьяных — не пьяных, пожалуй, все равно — выморочных. Что-то они, наверное, делают, чем-то живут, заходят в столовую, в магазин.

Один такой человек покупал со мною вместе четвертинку. Было это после промозглого дня, когда мы, вернувшись мокрые до нитки в гостиницу, заговорили, что надо согреться водкой. Разговор был пустой болтовней, но я в самом деле боялся, что кто-нибудь схватит простуду, и когда увидел в магазине четвертинку, решил, что стоит купить ее и выпить — не на троих, а на четверых: ужинать собрались мы вместе с художником, одним из тех, на кого кричала дежурная по гостинице в день нашего приезда (его приятель уже уехал). О четвертинке я тут вспоминаю не ради того, чтоб оправдаться (как мало мы пьем) или похвалиться (мы тоже пьем): она позволила сделать любопытное заключение. Я действительно один только раз видел человека, купившего четвертинку. Вероятно, он до того опустил, что на пол-литра ему нехватало. Дело было в пятницу, я быстренько обежал — как всегда, в поисках белого хлеба — магазины центрального пяточка и обратил внимание на то, что всюду полки поблескивают белобутылочной "Экстрой", разлитой в пол-литры и в четвертные. К утру субботы пол-литровок не было ни одной, четвертушки же еще стояли. В воскресенье с утра пол-литровые снова были уже тут как тут, но к вечеру исчезли и они и даже четвертинки. То есть, купить четвертинку — это последнее дело, это значит, что или нет в продаже пол-литровок, или нет на нее нужных денег. И вот, видя как исчезают с магазинных полок бутылки, трудно не найти в этом основательное подтверждение внешнему зрительному впечатлению о том, что все здесь

пьют. Пять ящиков, сто бутылок водки на магазин — это тьфу, ерунда, завозят ящики десятками, и на несколько каргопольских магазинов неужели не наберется их сотни две-три? И если их раскупают в течение пятницы, а потом еще завоз — в субботу, вот вам реальность: подпитием и похмельем охвачены одновременно все городские мужчины.

Только что я упоминал, что мужчин от двадцати до, примерно, сорока в городе почти не видно. Конечно, среди рабочего дня их вроде бы и не должно быть на улицах. Но и после работы, и в выходные дни эта "возрастная группа" мало себя выдавала. Но кто же зачинает здесь всех этих симпатичных детишек, — даже если и заметная часть из них те, кого подкинули бабушкам сыновья, живущие в мурманских и донбасских? С одной такой "группой" ехали мы однажды в специально присланном автобусе: это была бригада из двадцати каргопольских рабочих, строящих жилой дом в деревне (тоже белокирпичный, тоже с красно-кирпичным бордюром). Они ехали уставшими после рабочего дня — и с налитыми глазами.

На воскресенье пришелся праздник — "день строителя". Мы узнали об этом на пристани от пожилого человека в фуражке речника, который объяснил нам, что катер отсюда уходит по озеру и вверх по Свири с утра, а возвращается обратно к концу следующего дня.

— А вот этот, который подходит сейчас? — спросили мы. Время было обеденное, около двух.

— А это прогулочный. Организовали поездку по озеру специально для строителей. У них же сегодня праздник.

Мы сидели на перилах настила, ведущего к дебаркадеру, когда с подошедшего катера начали сходить пассажиры. В подавляющем числе это были молодые ребяташки, среди них две-три девочки, несколько мужчин постарше. Коренастый, пожалуй, полноватый парень с красной физиономией, расплываясь в телячьей улыбке, остановился перед нами:

— По-хо... на уоих онна... жженщи-а! — слепил он неповоротливым языком. Пошутит.

— Ничего, иди-иди, мы устраиваемся! — несправедливо злобным тоном ответил я ему: парень весь так и светился полным к нам расположением.

Из дебаркадерного проема выползали не спеша такие же, как он, его коллеги-строители, все пьяны в той или иной степени — от "приличной" до "последней". Внезапно закружилось что-то, зашевелилось, и редкостное оживление, с шуточками и смехом, охватило толпу. Мелькнул белый халат, клонились, хохотали пьяные лица, эмеей замелькала тонкая резиновая трубка, между тем катилось по доскам круглое нечто — и это была недопитая бочка с пивом, которую скалили с палубы, и вокруг нее роились теперь, едва ли не танцуя, в предвкушении кружки еще и еще!.. Красные, оскаленные лица, пригнувшиеся позы, разгул и животная радость — где же это видано? — Брейгель! Только какой — веселый "деревенский" Старший или же Младший, тот, который "адский"?..

Вот уже раскатали насос, вот уже наполнены желтою пенною жидкостью кружки — моют ли их? — и вновь наполняют пустые, и все хорошо. Нормально.

Мы хотим посидеть у реки на прибрежной лавочке — за нами увязывается пожилой мужичок со значком ветерана, он беспрерывно мелет пьяную галиматью, перебиваемую одним и тем же — что идет смотреть, не вернулась ли жена, которая ездила за черникой, и, выпросив у нас, что мы путешествуем, сообщает — что тоже путешествовал — "Маями Флорида" — почему-то повторяет он, и отвязаться от него не можем мы минут двадцать. У реки же на краю города сидим, любуясь водой, нестройным рядом лодок, и поблизости причаливают двое, один спешит в магазин за бутылкой, другой, поздоровавшись, присел рядом, а когда разговорились, сказал, что едут сейчас на рыбалку, и стал приглашать нас. Он так много, с таким серьезным плотским вожделем говорил об ухе, так рассудительно доказывал, что им с приятелем хватит и одной бутылки, что нам стало скучно и грустно, хотя, конечно же, и соблазнительно было махнуть на озеро с местными рыбаками. Мы поблагодарили и пригла-

шением не воспользовались. Мы проявили себя безнадежными снобами. А ведь всего-то шесть лет назад мы с Таней в Турчасове, пониже на Онеге, с живой готовностью приняли предложение выпить с какими-то пьяными уже вдрызг лесосплавщиками и были собой очень довольны: мы же объединились с народом! С простыми людьми! Мы хотя и на полчаса были как все. Нормальные. А сегодня? Избави Бог! И народ — и нас...

### ХІІІ

С погодой нам не везло. И если бы мы, живя в Каргополе, всякий раз хотели переждать начавшийся дождь, то так и просидели бы в городе, нигде не побывав. Поэтому и в Большую Шалгу, куда направились мы, как всегда, чтобы увидеть местную деревянную церковь, пришлось идти под непрестанным ливнем. Место это в десяти километрах от города. Днем вышел в Няндому дополнительный автобус, и он подвез нас до поля, за которым сквозь дождь виднелся церковный шатер. Он возвышался над деревьями, и ближе стало видно, что деревья эти скрывают погост — кресты и оградки мелькнули среди листвы. Все здесь заросло высокой травой с крапивой и татарниками, пришлось чуть ли не по пояс плыть в этих мокрых побегах. Пробрались к входу, и внутри церкви стали смотреть картину разора.

Шесть лет назад, спускаясь по Онеге вниз от деревни к деревне, мы таких картин навидались достаточно. Достаточно сказано было всердцах. Сказано и о тех, кто закрывал и рушил церкви, ломал и жег иконы. Да-да, это делалось властями, сверху, а местная "комса" тридцатых годов по малолетству и глупости во всем этом принимала лихое участие. Потом были годы запустения, и только с конца пятидесятых — в шестидесятых годах стали слышны голоса, призывавшие к спасению национальных ценностей русской



культуры, и в частности деревянных церквей. Да-да, понимали мы, что к тому часу все пришло в страшное запустение, а денег на реставрацию отпускают мало, а места труднодоступные, а рабочих рук не хватает. Мы все понимаем. Мы возмущались, но наше возмущение было обращено, разумеется, к прошлому: вот до чего довели, говорили мы, ступая по обломкам бывших святынь, стараясь под "говнами" (выражение одной онежской бабки: "а что там в церкви: одни говны") рассмотреть остатки живописи. Но прошлое — прошлое, что же за ним наступило? А наступило его продолжение, и сегодня, двадцать лет спустя от первых криков "спасите памятники культуры!" или шесть лет спустя — считай, от нашего путешествия, — мы ходим по тем же обломкам, и если часть их сгнила и исчезла, то на смену им появились новые останки.

Пустые окна, в них хлещет дождь; испуганные птицы, которые прячутся здесь от непогоды и теперь вылетают сквозь пролом в стене; измятая бронза разбитых паникадил; доски со шпонками с оборота и ковриками на лицевой стороне — бывшие иконы, на которых нет даже и остатков левкаса; расписное мутное небо, углы которого валяются на полу; помет и сено, человеческий кал и обрывки бумаги; пыль, грязь, обломки штукатурки, куски деревянной резьбы, содранной с иконостаса. Вой ветра, шум деревьев за окнами, стук просочившихся сквозь щели капель. Сруб вымок изнутри в тех местах, где видны заплатки из свежего теса: между бревнами просунешь палец. Ремонтировали... Безобразие! Министерство культуры недостаточно проявляет внимания к памятникам архитектуры!.. Да полноте, — а может быть, безобразие-то не от Министерства, а от самой культуры, а? "Прошлое", "сверху", "Министерство", "средства"!.. Стоя посреди церкви Рождества Христова в Большой Шалге, я был просвещен снизошедшим до меня откровением, и я жалею теперь, что оно пришло ко мне слишком поздно.

"Ложь все это", — было сказано мне. За выбитыми окнами видны были оставленные на краю поля голубенькие

тракторы. По другую сторону от погоста виднелись избы. Рядом были люди — местные жители, которые выросли здесь, чьи предки еще почитали эту церковь и похоронены здесь, вокруг нее. Ну ладно, — прежде боялись, но теперь за последние двадцать лет, когда ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ, когда ОХРАНЯЕТСЯ, когда ПОВРЕЖДЕНИЕ КАРАЕТСЯ, — ни разу никогда и никто — ни несколько баб, ни пара мужиков, ни школьный учитель с десятком детей, — никто здесь не удосужился хотя бы прибраться, вымести мусор, пройтись с мокрой тряпкой, чтобы СМЫТЬ ПОЗОР, лежавший на всех и воочию предстающий вот под этим шатром, про который воскликнуто в современной книге: "Прекрасно!"

**СТРАШНО!** Эти шатры прикрывают не обиталище Бога, а хранилище страха, невежества, безразличия, лени и тупости.

Благодарю тебя, Большая Шалга и церковь Рождества Христова и та, вторая, каменная, что рядом с ней — по формам совсем иная, но по внутреннему содержанию своему такая же, как и деревянная! Благодарю за то, что просветили меня и сделали справедливее. Ибо воздавать должное справедливо, только когда воздается оно всем, того заслужившим. Я был несправедлив, ибо воздавал только "прошлому" и "министерству". В долгу оставалось все то, что так близко, — вокруг и на каждом шагу, вот здесь, рядом с этой несчастной церквушкой, под этим непрерывным дождем, который лил и лил с терпеливых небес.

Мы обошли две избы, возвращаясь уже к дороге: одну разрушенную совсем — я заглянул в нее и сообщил своим, что там валяется самовар; другую жилую, из-под ворот которой лаял на нас щенок. Постучали в дверь, никто не отворил. Когда отходили, щенок побежал следом и, оглянувшись на него, кто-то из нас случайно увидел в окне старушечье лицо. Едва повернули обратно, лицо исчезло. И опять нам на стук не ответили. Снова пошли к полю, стали прогонять щенка, чтоб вернулся к дому, — старуха опять смотрела нам вслед из маленького окошка.

Выходя к дороге, наткнулись на зайца. Юра окликнул нас, — заяц сидел неподалеку, повернув в нашу сторону голову... так что наш интерес друг к другу был, по-видимому, взаимным. Заяц боялся нас меньше, чем старуха.

По дороге шел в сторону Каргополя грузовик, мы закричали и замахали руками, шофер лишь посмотрел, и машина проехала дальше.

Пошли по дороге — точно против ветра, секущего дождевой мокрый. Мы готовы были пройти все десять километров — до темноты было еще далеко, однако, уже успевшим вымокнуть, нам это не очень улыбалось, тем более, что при такой погоде и размытой дороге пришлось бы топтать не меньше трех часов. Кстати, вид дороги говорил о печальной участи ремонтных работ, которые тут только что велись: подсыпка по краям полотна, песок и щебенка, заложенные в рытвины, — все это ползло и уносилось ручьями в кюветы, отваливалось целыми слоями, и всюду края дорожного полотна напоминали овражистый рельеф в миниатюре — с прорытыми водой ложами, обрывами и стоячими озерцами.

Появился еще грузовик. Голосуем, я в последний момент указываю шоферу на Таню и поднимаю один палец, объясняя, что достаточно взять только женщину на свободное место в кабине. Машина не останавливается. Предлагаю растянуться на дороге с интервалом метров в пятьдесят, и после того, как Таню удалось, наконец, уговорить, — вернее, Юра просто-напросто ушел вперед, — мы так и пошли: сзади Таня, в середине я, впереди — Юра. Это с тем, чтобы не пугать шоферов количеством: авось, проголосует Таня, и ее возьмут, а мы будем останавливать следующего. Когда нагнала нас очередная машина — почему-то с рваной дырой в ветровом стекле прямо против лица водителя, — она тоже не остановилась. Мы шли уже, примерно, с час, непрерывно оглядываясь, чтобы во-время увидеть за дождем попутку. Появившийся очередной грузовик начал было перед Танией протянутой рукой сбавлять ход, но затем вновь пропустил, я тоже поднял руку и что-то кричал — злое и там,

в кабине, конечно, неслышное водителю и сидевшему с ним, я даже сделал несколько шагов наперерез, меня аккуратно объехали и начали приближаться к Юре. Что заставило их остановиться? Зажглись красные стопы. Юра подбежал к кабине. Жестикует, указывает назад, значит, Таню просит взять. Машу Тане, чтобы поторопилась. Бежим к машине и слышим, как Юра с ненавистью выкрикивает: "Ты человек или нет?!" Из кабины высовывается, вставая на подножку, парень, — я думал, хочет полезть в кузов, чтобы дать свое место Татьяне, — оказалось, он лишь смотрел, сколько ему еще нас ждать. Юру трясло от злости, но было ясно, что нас все-таки сажают. Взобрались в кузов, он был завален стальными траками. Татьяна и я сели спиной к кабине на ящики, Юра был еще у заднего борта, когда машина взяла с места. Перебраться к нам Юра не захотел, всю дорогу его секло по лицу, и мне казалось, что он и желал этого — пусть сечет, пусть бьет, пусть, вообще, все летит к чертовой матери! — он был красен, губы поджаты в брезгливую щель, глазки сузились до предела среди напряженного, ожесточенного лица.

— Сволочь! — кричал он. — Подлец! Ему некогда! Шофер хочет взять! Понимаете?! А он, сволочь, — некогда! Поезжай! Совесть есть?! — я говорю! Женщину возьми! Некогда! Подлец! Шофер берет! — а этот! гад! не хочет!

Так он повыплывал свою злобу и замолчал, скорчившись в углу между бортами, — его изрядно подбрасывало там, и надо было крепко держаться.

За понтонной переправой остановились.

— Здесь сойдете? — выглянув, спросил шофер.

— Сойдем, сойдем!

С рублем в руке я подошел к нему — это был худой паренек лет восемнадцати с добродушной и глуповатой рыжей физиономией.

— Да что вы, не надо! — отказался он вполне искренне, но я сунул рубль в карман его комбинезона со словами:

— Э-э, нет, тебе — это, а тому другое, бери, бери!

Он пробормотал "спасибо", явно заинтересованный

моими словами. Я обошел мотор, второй парень как раз вылезал — опять взглянуть, долго ли мы еще будем копать.

Там на дороге я не успел его рассмотреть и теперь с удивлением отметил, что у него совсем неплохое лицо — открытое, простое и, в противоположность многим здешним, с явным отражением на нем внутренней мыслительной работы.

— Я тебя хочу только одно спросить! — обратился я к нему взведенным тоном. — Скажи, тебе кто-нибудь, ну хоть раз — делал кто-нибудь добро?

Признаюсь: этот вопрос я заготовил еще сидя в кузове и глядя, как мучается Юра бессильной яростью. Дальше диалог складывался уже сам собой:

— Ну-у-у, — широко и снисходительно заулыбался парень, — начинаются философские разговоры! Мне некогда тут философствовать.

— А что же философствовать? Один простой вопрос: делали ли тебе добро или нет. Вспомни.

Честное слово, он готов был пробудить во мне симпатию — в этот момент, когда посмотрел, улыбаясь, куда-то вдаль, и словно бы, действительно, вспомнил.

— Ну-у, делали, — сказал он с некоторой задумчивостью. И спохватился: — Иногда!

— Ах, делали! — зацепился я, опять наполняясь антипатией. — Делали! Почему же, если тебе делали — ты другим не делаешь?!

— А откуда вы знаете? — резонно возразил он мне. — Может быть, я тоже делаю... По настроению! — нашелся он, так как следовало же оправдать вот этот случай, когда он явно не пожелал нам помочь.

— По настроению! Эх, ты-ы! Так разве ты человек?! Вот он, — ткнул я на рыжего, который откровенно ликовал, наблюдая все происходящее, — он человек! А ты и сам не захотел добра для других и ему не давал! Знаешь, что я тебе скажу? Если ты человек, а не дерьмо, то добрые дела не по настроению делают, как ты говоришь, а... не знаю почему! Не только людям, — видят, собака гибнет, так собаку подбе-

рут! Видят, люди вымокли, замерзли — людей подбирают. Вот и вся философия. Просто нормальный человек так устроен. Понял?

До него эта мысль дошла. Глаза его были ясны, и он качнул головой, как бы соглашаясь. Но вдруг вскинулся и посмотрел на меня с иронией.

— А стоит ли? Вот стоят люди, чтоб им добро делать? Я в этом сомневаюсь чтобы люди стояли!

— Сомневаешься! — Он совсем неплох этот парень. Кто он? Кончил профучилище? Техникум? Комсомольский деятель? Здешний или нет? Ему некогда, да и нам тоже. Не зазывать же после всего, что было по дороге, в гости! — Сомневаешься? Так вот что. Слушай меня внимательно. *Ты не сомневайся.* Не надо. Если ты перед каждым разом, когда тебя тянет что-то хорошее сделать, будешь сомневаться и раздумывать — делать не делать, стоят люди или не стоят — ты такой станешь... свиньей! — Почему я сказал "свиньей"? Но меня заносило и я задыхался. — Свиньей. На тебя такое найдет! — (я уж чуть ли не пророчествовал) — Ты... повесишься! Понял? Повесишься от тоски, жить не захочешь и повесишься! Ты лучше не сомневайся, а будь человеком, понял?!

Теперь и меня трясло, как недавно Юру. Парень опять посмотрел поверх дверцы и задумчиво поулыбался.

— Ну-у, — протянул он. — Это надо обдумать. Я над этим подумаю. Он стал улезать с подножки в кабину.

— Вот-вот, для того я тебе и говорю, чтобы подумал!

Машина тронулась. От другой стороны дороги спешили Таня и Юра.

— Что ты ему сказал? — наперебой стали они спрашивать у меня.

И мы еще долго обсуждали это происшествие на дороге из Шалги в Каргополь. Главное, думали мы, конченный человек этот парень или нет? И рыжий шофер — будет ли он и впредь руководствоваться своей природной добротой или, выражаясь не литературно, "скурвится"? Мы этого не

узнаем, даже если приедем сюда еще через пять лет. Но приедем ли? Приеду ли я?..

#### XIV

Еще с Москвы был план добраться в село Лядины, где сохранилась ставшая уже редкостью "Тройня" — то есть церковь зимняя, церковь летняя и отдельно поставленная колокольня, — а из Лядин отправиться на Лекшмозеро и объехать его. В связи с этим планом и существовал расчет на помощь лесхоза: может, дадут машину, может, где-нибудь в лесничестве добудем лодку. В лесхозе Юра, встретившись, наконец, с начальником, предложил отправиться вместе куда-нибудь в хозяйство, в питомник, например, сделать там фотоснимки, чтобы дать потом два-три коротких репортажа для редакций лесохозяйственных изданий. Начальнику это было как-то все равно. Необходимость возиться с такой заботой — ехать в хозяйство, рассказывать и показывать — энтузиазма у него не вызвала. Но когда Юра добавил, что было бы неплохо после этого подъехать и в Лядины, начальник оживился. Он и сам денек-другой отдохнул бы в гостях у тамошнего лесника! Но ближе к делу оказалось, что у машины сломался задний мост; потом всех бросили на сенокос; потом еще что-то помешало. Так или иначе, но начальник оставил всякую мысль куда-либо ехать. У Юры появилась бумага, текст которой не сохранился — из-за того, что она была порвана счастливым владельцем сразу же после прочтения вслух этого ценного документа. Начало я помню: "С предъявлением сего предлагаю принять корреспондентов и организовать ночлег..." В таком же, примерно, стиле начальник говорил по телефону с женой лесника в Лядинах.

Переложили мы рюкзаки, взяв спальники для ночлега

и побольше консервов, прихватили кстати и бутылку, врученную в Москве при отъезде, — чтобы явиться к хозяевам с каким-никаким приношением...

Отправились ранним автобусом и через час с небольшим приближались к Лядинам. Накрапывал дождь. Как обычно, автобусик объезжал большие рытвины, трясся по мелким. По дороге тянулось стадо, и медленные коровы никак не могли взять в толк, что хочет от них этот назойливо жужжащий большой обрубок с двумя стеклянными глазами, который перся прямо на них. Вместе с остальными пассажирами мы молча наблюдали за всеми ухищрениями шофера, старавшегося то объехать, то испугать коров гудками и ревом двигателя, — одна, две сворачивали в сторону, другие подставляли то бока, то хвостатые зады, наконец небольшая часть стада сообразила на свой привычный лад, что от них требуется: этот пастух с мотором, решили коровы, гонит их к селу! И небыстрой трусцой, а то и в изящном галопчике, побежали они по дороге прямо перед радиатором! Шофер поддает — и они припускаются, он тормозит, чтобы, может, они убежали подальше, — и они останавливаются. Длилось это бесконечно долго. Все с явным вниманием продолжали следить за сложной тактикой шофера. На наш городской взгляд давно уже стоило попробовать и такой вариант: кому-то выйти из машины, согнать коров в сторону, а там и двинуться без помех!.. Но поди знай! — сунешься со своими советами — дураком себя по незнанию выставишь... Так и ехали мы, дергаясь и взывая, и покрыли уже не одну, я думаю, сотню метров. Тут достигли мы, однако, бабки, которая, опираясь на палочку, стояла у обочины.

— Эй! — закричал шофер. — Прогони! Гони, гони их! — и замахал руками. И все, кроме нас, городских, замахали руками и громко закричали с милой интонацией, напирая все больше на "о":

— Эй! Гони, гони их, сгони с дороги-то! Эй!

Бабка поглядела в окна автобуса, поглядела на стоявших перед ним коров. "Еть!" — сказала бабка и погрозила



палочкой. Коровы брызнули в кусты. Наш путь на Лядины был, наконец, свободен!

У крыльца дома, где жил лесник, нас встретил пес, который сперва облаял, потом замахал хвостом. Постучали в дверь, вошли. Топчась в сених, сказали в кухню женщине, занятой чем-то:

— Здравствуйте. Мы из Каргополя вот... Начальник лесхоза звонил.

— Здравствуйте. Я знаю.

— Он вам звонил-то? С вами говорил?

— Со мной.

— Вы жена, значит, Федора Степаныча?

— Жена.

— Ну, здравствуйте. Вот, приехали мы... Можно к вам зайти? У нас рюкзаки...

— Заходите. А вон положьте.

Мы зашли. Прошли в комнату. Сели. Хозяйка входила и выходила. Мы с повышенным оживлением что-то такое говорили не то друг другу, не то хозяйке, — про погоду, про дорогу, про собаку и котят, которые вертелись под ногами. Мы осваивались. Преодолевали неловкость. Вошла заспанная девица лет семнадцати. Поздоровались. Она прогремела на кухне ведрами и ушла.

— А что, Федор Степанович, — дома он?

— Болеет. Сейчас придет.

— Что с ним? Чем заболел?

— А простудился. На сенокосе.

Скоро пришел и хозяин. Познакомились. Он, как и жена его, тоже не знает, да и в общем-то, не стремится придумать, что надо говорить, что надо с нами делать. Так и сидим. Треплем то котят, то собаку. Темой беседы служит радикулит, которым хозяин и болеет сейчас. Мы сочувствуем. Советуем. Молчим. Нам бы следовало обсудить сейчас, что мы можем успеть здесь, в Лядинах и попадем ли на озеро или нет, но с каждым мигом у нас оставалось все меньше охоты задавать вопросы, что-то узнавать и тем более о чем-то просить. Я не возьму на себя сказать, что хозяева держа-

лись негостеприимно, — ничуть. Я думаю, они держались естественным образом. И он, и она, и эта заспанная девчонка, их младшая дочь, — они обретались всякий миг среди идущего своим чередом течения времени, и своим чередом протекало их бытие в этом времени, а бытие иное, — ну, наше, например, — текло своим чередом, в стороне, и было чем-то, что никак не могло их затронуть и что-то в них переменить, хотя бы вот на этот миг, когда мы сидели у них на стульях... Проявить гостеприимство или, напротив, проявить негостеприимство, — это ведь значит именно проявить, то есть как-то настроиться и этот свой настрой выказать — деланный или искренний, вежливый или невежливый. Но тут ни до какого настроя даже не доходило. И по этому поводу мне, склонному здесь, в Каргополе, едва ли не на каждом шагу рефлексировать (пользуюсь этим, как сказано в словаре: "книжн. устар." словом — раздумывать, размышлять), — приходит в голову, что, может быть, замечательным свойством обладают здешние люди, особенной, так сказать, жизнестойкостью, которая позволяет им столь редко "рефлектировать"! Нет-нет, не в этом книжном, устаревшем смысле "раздумывать, размышлять", а в обычном, физиологическом: "отвечать рефлексом, реагировать на внешнее раздражение". Но, подумав об этом, я вновь запутался, как опять-таки на каждом шагу запутывался я здесь в Каргополе среди своих раздумий: ведь рефлекс — то, реакция на раздражение, это и есть признак жизни! Ведь если ни на что нет реакции, то делай с живым существом что хочешь, и хоть бей, хоть валяй, хоть совсем изводи!

Эк куда меня занесло в моих рефлексиях!.. Наверно, все тут много проще, чем мне представляется. Что-нибудь в таком роде: "Как бы там ни было, лучше, чтобы никак ничего не было".

Поглядывая друг на друга, сказали мы: "Ну что, может, пойдём!" — "Да, надо идти". — "Пора, пора, время уходит. Можно, мы у вас вещи пока оставим?"

— Оставляйте, — сказала хозяйка. — А чаю не попьете? Чай! Уж этот нам чай! Да, конечно, хорошо бы его по-

пить! Встали в шесть, уехали "не емши", сейчас девять, весь день ходить по мокрыни, — чай нам ой как на пользу! Но это "не попьете"... Ведь хозяйке, видим мы, как говорится "без разницы" — откажемся от "приглашения" или примем его с благодарностью. И пригласи меня к чаю вот так, с безразличием, хоть в Москве или в Подмоскovie, ни за что бы не согласился; это значило бы, что я людям в тягость, не симпатичен или не во-время здесь оказался. Но к тому моменту, когда сидели мы у лядинского лесника, уже был у нас кой-какой опыт общения с местными, и он говорил, что в равнодушном "не попьете" нет никакой к нам неприязни. А коли так — отчего же не выпить? Сели к столу, добавили в вазочку к хозяйским конфетам своих, но хозяйка сказала, что они будут есть уху, а вы чего же? — спрашивала она. Вот тебе и раз! Уха! Спасибо, с удовольствием.

Уплетаю уху и думаю, что хозяева наши — и простые, и добрые, что глупо нам с поверхностного взгляда со своими нездешними мерками ценить их манеру общения с незнакомыми, свалившимися им на голову людьми.

Разговор идет о семье лесника: вот это на фотографии — отец, в той комнате, в кровати, — внучка; сын есть... Тут хозяин, посмеиваясь, говорит, что хотел ехать сын сегодня на рыбалку на озеро, да не поедет, погода... Мы подхватили: да, мы тоже думали было побывать на озере, но с погодой плохо, мы навряд ли поедем. Тем вопрос об озере обоюдно исчерпан. Допиваем чай, расспрашиваем о стариках, которых Юра встречал тут в прошлый раз, и отправляемся в деревню.

Выходим к церквям. Стоят они в кругу меж улицей, скотными и механизаторскими дворами, так что на хозяйственную грязь и беспорядок смотрят оба церковных входа. Шатровая отреставрирована, кубоватая сейчас в лесах, видно, что работа идет, сменили уже почти все главки, меняют крышу необыкновенно высокого крыльца. Сегодня тут затишье по случаю выходного, церкви на замках, а ключи, как мы выяснили, — у Лиды, кладовщицы, а Лиды дома нет, будет только к обеду.

Долго смотрим на церкви. Сетуем, что гладко-чешуйчатый лемех на главках меняют сейчас на лемех со ступенчатыми краями (не знаю принятых названий для этих двух типов лемеха), — главки со струганными "чешуйками" лежат сейчас на земле, и они, пожалуй, были для глаза приятнее, мягче. Ищем места для фотосъемок. И чтобы охватить весь ансамбль, иду я к скотному загону, в гости к коровам. Оттуда лучше всего komponуются все три строения. Потом мы еще дважды вернемся к церкви, мы будем трапезничать на высоком крыльце, а пока отправляемся дальше, и за входом в сельсовет видим молодую женщину, которая моет лестницу.

- Здравствуйте, не скажете, есть ли кто в сельсовете?
- Никого, — продолжает она мыть.
- Мы кладовщицу Лиду ищем.
- Я, — продолжает мыть она лестницу.
- Вы — Лида?
- Я, — повторяет она.
- Вот хорошо! Вы не могли бы нам церковь открыть?
- Ключа нету.
- Как нету? У вас ключ, говорят.
- Нет у меня.
- А где же ключ?
- Отдала.
- Отдали? Кому отдали?
- Которые работают.
- Реставраторам?
- Ну.
- А у вас — совсем нету?
- Так отдала.
- Ну да, это понятно, отдали, а вторых-то нет у вас ключей?
- Нет.
- Как же — без вторых?
- Зачем вторые?
- Как зачем? Вы кладовщица, вы, вроде, отвечаете, если вам ключи дали. Ну вдруг эти реставраторы... они в город уехали, да?

— Ну.

— Вдруг они ключи потеряют, как же без вторых?

Лида на это ничего не сказала. Небыстро, по-бабьи тщательно водила она тряпкой по ступеням, обтирала перила и стену. Спокойное, замкнутое лицо ее хранило невозмутимость. Взгляда, который хотя бы на мгновение обратился бы в нашу сторону, перехватить было невозможно. Приди наши голоса не с крыльца, а с крыши или с самих небес, она отвечала бы им с тою же прямою безмятежностью. Но Юре, кажется, хотелось молодую девку растормошить.

— Значит, вы домой придете в двенадцать часов, — без вопроса, серьезным голосом сказал он.

Она медленно распрямилась, подумала и спросила строго:

— Вам зачем?

— Просто так. Знаю, — равнодушно сказал Юра.

Бедная Лида готова была не на шутку растеряться, и на лице ее отразилась тень беспокойства.

— Откуда знаете? — спросила она и — ура! — внимательно посмотрела Юре в глаза.

Добрый человек Юра рассмеялся и ответил успокаивающе:

— Да я домой к вам заходил, мне ваша мама сказала, что вы в двенадцать придете. Это ведь мама ваша дома-то?

— Ну.

— Вот она и сказала. Лида, а вы знаете вот этого старика? — Юра показал ей фото великолепного старца с седой бородой. Старец сидел перед избой, в руках у него была полоса бересты, он что-то плел.

— Знаю.

— Как его зовут?

— Василий Петрович Терешин.

Старика, мы знали, в живых уже не было. Лида указала, где живет его вдова — где "бредины", сказала она, — где? — в "Брединах", и это, оказывается, не гати, не мостки, а — деревня, — какая же, не та ли? — Не-е, та — Берег, там никто не живет. А ниже по дороге, где Фомин Конец, — там есть старуха, которая лапти плетет. Предыдущий диалог дает

представление о том, как, будто за камушком камушек, по слову, Лида, что называется, "выдавала информацию", и, наконец, закончив расспросы, попрощались мы с ней и, рассматривая фасады изб, кое-где сохранившуюся роспись наличников и подкрышных обшивных досок, колодец с огромным колесом и толщенным воротом, пошли на Фомин Конец.

Бабка Маривьяна оказалась, не в пример Лиде или той же хозяйке — жене лесника, — до чего же бойка, жива, хитра, общительна! Диву даешься: те, одна в свои молодые, другая — в средние годы, будто давно уж и спят, а то никогда и не просыпались, а эта, которой восьмой десяток, полна энергии, готова и порассказать, и шутку перехватить, да сама скажет кому-то, закричит через дорогу, к себе подзовет, и пока мы около нее, успеваем рассмотреть ее работу — лапти, которых принесла она целую коробку картонную, в каких привозят в магазины бакалею (в дом нас бабка Маривьяна приглашать не стала — "вынесу, вынесу, обождите!" — видать, много нас таких к ней шляется), покупаем у нее две пары — побольше, для моего сына, и детские, для мальчишки наших друзей, и бабка берет всего по рублю за пару! Узнаем, что у отца ее было восемь детей, и он сажал ее около себя, когда плел, так она и научилась — нужно было всех обути, всю семью, а отцу-то некогда; узнаем еще, что сейчас при ней живет ее сын, он не старый, и горе ей с ним: напившись пьяным, заснул он на улице, на холоду, обморозил руки — обе кисти у него отняли.

— Ой, Господи, — высказывает Маривьяна свое больное, — мне и страшно с им быва-ат! Переживает сын-то, выпьет, гоняется за мной, — убью! — а я бежать, вона к соседям спасаюсь! Ну, фотографию мою сделаете? Мне снимки делают, присылали. Мне как сесть-то? Вот так? Эй, мотри, Семеновна, — кричит она прохожей своей однолетке, — пляту, мотри! Фотографируют меня! Артистка я!

И правда, она как артистка: села на скамейку, приняла хорошую позу и выражение лица приняла естественное.

— Адрес мой такой, — деловито сказала она, когда мы

щелкнули несколько раз, и обстоятельно продиктовала точный адрес. Не бабка — очарование.

Что же такое Фомин Конец? Наверное, поселился тут когда-то, подальше от деревни мужик Фома, вот и дал свое имя новому месту, отвоєванному от леса. Потом, как это и бывает, и дети построились рядом, может, еще кое-кто из ближних и дальних родичей или дружков.

— Тута, и тута, и тута, — указывает Маривьяна, — везде и жили, — во-он куда деревня шла! — А мы смотрим — и видим с полдесятка изб вдоль дороги, да еще две-три брошенных на отшибе, а между ними — будто заросшие от долгого неупотребления площадки для спортивных игр. Конец тебе, Фомин Конец, два слова этих только и остались... В начале было "Слово", когда еще не было ничего, и осталось Слово, когда ничего не осталось.

Сказала бабка Маривьяна, что есть тут у них часовня. Мы об этой часовне раньше не слыхали, не читали ничего и обрадовались, когда и вправду с краю дороги завидели махонький сруб — что-нибудь два на два метра, — под двускатной крышей с маковкой на середине конька. (К недоумению своему, "конек" в значении "ребро, стык двускатной крыши" не нахожу сейчас, во время писания, ни в ушаковском, ни в самоновейшем ожеговском словарях, и только добравшись под потолок на полку с академическими томами, убедился, что, слава Богу, не на меня нашло наваждение, а на них, кто родного слова не помнит). У часовенки было и крылечко — полшага в глубь, под навес, а навес — и верно, свисал над крылечком, потому что лишился опорных столбиков. Открутили проволочку на двери, открыли. Тут хоть можно было смотреть спокойно: пуста, да чисто вымыта, да на восточной стене полотенце белое с бедно вышитыми красной нитью крестами. Часовня эта не ПАМЯТНИК и не ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ и ее повреждение не КАРАЕТСЯ. Видимо, здесь это так понимает кто-то, что не государственная, а своя, и значит НЕ КАРАЕТСЯ, если за часовенкой ухаживать. Старушки, наверное, — кому же еще? — и помыли, и полотенце повесили, а сделать плотниц-

кую работу, отремонтировать крыльцо и крышу им не под силу.

Лишь появились мы у часовни, из избы напротив вышла бабушка, а скоро завертелась вокруг девчонка лет семи. Гадать не приходилось: подослали по наши души. Но мы еще и до входа хорошо себя показали: сапоги пообтерли, а шапок на нас и так не было. Великолепная толщенной рубки изба-громадина глядела на нас с той стороны улицы, и мы спросили шустрого "агента", чей дом, живет в нем кто? Оказалось, хозяйка — та бабушка, что выходила, и девочка ее вызвала из соседней избы. Бабушка отнеслась к нам приветливо — и по той, надо думать, причине, что наблюдала нас из окна и поведением нашим — отходя от часовни, аккуратно замкнули проволочку — осталась вполне довольна...

Суховатенькая, спокойная, рассудительная бабушка объяснила, что живет в избе соседней с большой, в большой же только сруб еще держит, не рушится, а перекрытия сгнили, потолок под крышею обвалился, и ходить там можно лишь с опаской. Она заходит иногда только в кухню, там пока не страшно. Мы все же попросились осмотреть, и сперва вошли в хозяйственную часть — в подклетный этаж, где скотина, и наверх, где хранят сено, хранят и принадлежности крестьянского труда.

Вот когда мы разохались! Помещения — и одно, и другое, хоть и с проломами в полу и потолке, были огромны, как ангары для дирижаблей. И какова ни была пустота, каков ни лежал на всем разор, лежало еще на всем неушедшее строение: здесь было ХОЗЯЙСТВО, здесь был ХОЗЯИН.

— Дом он сам рубил, — негромко, с уважением к нему, отсутствующему, говорила нам бабушка на наши взволнованные расспросы. — До меня еще. Из лесу по бревну возил. На лошадях. Семья большая, шесть детей. Не мои дети. Я за него за вдового пошла. Шесть лет, как помер, двенадцать прожили. Все тут его руками, а как же. Золотых рук человек, все умел. Это что? — Это гнуть дуги, полоз для саней. Сани-то эти? А как же, сам, все сам делал. Вот сбруя. И плел, и вырезывал красиво. Вот лежит, осталось, он плел. Верно,



верно, точило для косы класть, за петлю и на пояс. А возьмите, пожалуйста! Берите, берите, не жалко...

Телега, сани с коробом, деревянные вилы, дуги, колеса, оглобли, сбруя, кожухи, долбленный чан, соломорезка — с тяжелой чугунной станиной, иностранной марки, — множество предметов крупных и мелких лежали, стояли, косились под стенами и будто слушали еще в своей дреме тяжелые прикосновения хозяйских рук... Кто он был? Как жил во всю вторую половину долгой жизни? — умер он, когда было ему за восемьдесят, и значит, к девятьсот тридцатому подошел сороколетним крепким мужиком. Не раскулачили почему-то? Не сослали? Все отдал колхозу? Уж у него не одна была лошадь и не две коровенки!..

Не стали бабушку расспрашивать. Да и не была она с ним при тех событиях. Смотрела вместе с нами на старые чудеса все та же девочка-попрыгунчик и, кажется, впервые видела их.

- В школу ходишь?
- Этот год пойду.
- Ну, хочешь жить в таком доме?
- Не хочу.
- Почему же?
- Здесь страшно.

Мы начали ее разубеждать, говорить, что ничуть не страшно. А ведь было здесь страшно! Только по-иному, чем казалось ей.

## XV

Идем-бредем по дороге в деревню Бредины. Вот и еще один шестистенный сруб из той же породы крепко стоящих. Окна, что на улицу, забиты, но боковые — в стеклах, а у дверей человек, занятый рыболовной сетью.

- Не скажете, старый дом?

— Еще не старый. Там написано.

— А — видим! 1905-й. Хорош! Что его — перебирали?

— Нет.

— А номера на бревнах?

— Потому что сруб делали в лесу. Разобрали, сюда перевезли.

— Вон как!.. А вы, может, еще скажете? — окна забиты, что там, в комнатах, обвалилось, или еще почему?

— Не-ет, — усмехнулся мужчина. — Там не живем, вот и забито. Две комнаты жилые, остальные пустуют.

— Вы и живете, да?

Он опять усмехается и отрицательно качает головой.

— Отдыхаем здесь. На лето.

То-то с первого взгляда видно, что мужчина не деревенский.

Поверх синей сорочки подтяжки, и они нужны, поскольку из штанов брюшко выпирает. Вся его приземистая малоподвижная фигура, его плотная, почти без ненужной шеи голова, ухватистое лицо с выражением жесткого на нем довольства разом выдавала в человеке управленческое, кадровельское происхождение. Через забор и через двор — я почему-то взгромоздился на валун и возвышался над сценой — говорил он нам о своих воззрениях на современную жизнь. Он помянул, что прежде домов было больше, верно. Да-а, люди тут жили!.. И то был колхоз, и то — тоже колхоз, и здесь колхоз. Потом сливали, укрупняли, а что же? — на деревню по пять домов остается, что делать? Вот и укрупняли.

А сейчас хорошо. Молодежь? А что молодежь? Тут вон механизаторы в аванс по пятьсот рублей получают. А в городе плохо, трудно жить. Продуктов нет? — нет. А здесь прожить можно!

Я в этот момент, с улыбочкой слушая, решил обострить, так сказать, течение его мыслей, тогда как к мужчине присоединился, выйдя из дома, большой, красномордый с утренней, наверное, несильной выпивки — парень, и, тоже ухмыляясь, прислушался.

— В городе продуктов нет в магазинах, а в деревне они в магазинах есть? — сделал я риторико-иронический выпад.

— В деревне в магазинах тоже, конечно, нет, — кивнул мужчина.

И со своего валуна-пьедестала я торжественно провозгласил:

— Это и означает: стирание различия между городом и деревней!

Черт меня дернул.

— Это по-вашему — "стирание различий!" Если, по-вашему, такие различия, — с недоброй снисходительностью начал врезаться мордастый парень. Он, конечно, был тоже "отдыхающий".

— И по-нашему, и по-вашему! Вы не делайте вид, что меня не поняли, — не уступил я ему. — Прекрасно поняли, как я сказал.

— Я вас понял!..

— ... а понял, что же говорить! Когда ни тут, ни в Каргополе, ни за полста километров от Москвы ничего в продуктовых нету!

— Правильно, — мотнул чубом парень, продолжая полупрезрительно улыбаться. Очень уж ему хотелось уесть заезжую выпендрючку, и так как не получилось, он ушел в дом. Дурачки мы с ним грызнулись.

— У всех здесь мотоциклы, — продолжал мужчина. — Машины будут покупать, уже покупают. Дороги? Дороги — это, конечно. Дороги будут строить, куда деваться? Будут! Скоро сюда из города поедут. Уезжать будут люди из городов. Воздуха нет, асфальт. А в деревне — природа. Лес, река. Простор. В будущем люди будут жить в деревнях, в городе не захотят, потому что здесь лучше.

Озаренные таковым, вкратце им обрисованным сиянием будущего всех людей, мы от мужчины ушли. Нет, пожалуй, если все они — он и ему подобные, все они покинут города ради воздуха и рыбалки, мне, например, будет прекрасно жить и в городе, среди асфальта и городской атмосферы. Вот уж подышу!

В Брединах, дождавшись, пока завиднелась живая душа среди изб — старуха с палочкой и кошелкой, — узнали, где жил Терешин. Юра, спустя пять лет, его дома уже не помнил. Постучали. Открыла пожилая женщина, — любезная, живая, востроглазая. Едва стал Юра объяснять, что вот решили навестить, как женщина, поведя нас в избу, объявила с удовольствием:

— А я вас признала. Только увидала — сразу вспомнила. Вы Василь Петровича фотографировали! Он уж болел тогда, а вышел, там-то под окном посадили его, красиво!

— Верно, верно, видите, не забыли! А я ехал, думал — застану Василия Петровича, — отвечал Юра и доставал фотографию.

— Он получил такую? Я ему посылал.

— Получил, как же! — получил! Уж радовался он! У жены все спрятано, не знаю где, а — есть, есть портреты, как же!

— А вы, простите, кто им будете-то?

— Золовка она моя, золовка Ульяна-то Павловна, Василь Петровича жена. А я всегда летом-то с ними живу. Я, когда вы приезжали, была — не помните меня? — а теперь вот говорю: — Ульяна, говорю, поехали, заберу тебя в Мурманск, — ей одной зиму как-то? — плоха стала, и не видит, слепая совсем, а она — приезжай, отвечает мне, на лето, а там погляжу... Чего глядеть? — заберу ее, одной не пережить ей.

— Это хорошо, есть кому позаботиться. А ее нету — Ульяны Павловны?

— В магазин пошла, за хлебом.

— Это куда же, в какой магазин? — где церковь?

— А где же? — туда!

— Говорите — слепая она!

Смеется:

— Дойдет! Потихоньку, потихоньку, и дойде-ет. Говорю, куда ты? — хлеба-то нет, а она — а схожу пока. А пускай!

Мы сидим в небольшой, почти без обстановки, прихожей комнатке, которая как бы вторые сени, — к ней примыкают и кухня, и жилые комнаты. Не торопясь, разговари-

ваем. Собеседнице нашей Ефросинье Александровне за семьдесят, золовка ее лет на пять постарше, к восьмидесяти.

Третий год пошел, как умер Василий Петрович, и был ему уже девятый десяток. Долго болел, последний год не поднимался. То, что Ефросинья Александровна горожанка, заметно из всего: держится легко, речь ее свободна и правильна, и нет у нас обычного чувства, что встань мы в любой миг и уйди — и нас проводят с тем же незначущим "до свиданья", каким незначущим было "здравствуйте", — старушка радуется нежданым гостям, просит непременно дожидаться золовку, и пока сидим, много чего успевает порассказать — о том, что в Мурманске сын и дочь, что своя однокомнатная квартирка там у нее, и она никому не мешает, а напротив, помогает с внуками.

— Пенсия у меня, работала! — с милой гордостью сообщает она. — О-ой, всю жизнь! Я ведь партийная! — говорит она нам и смотрит лукаво: небось, думали про меня, что я бабка, а я хоть на вид и скромна, а вон какая! — С тридцать треть-его года! — с подскоком в ударе подчеркивает она значительность своего партийного стажа.

— Муж-то мой — о-ей-ей! — он в этой деревне коллективизацию проводил, да-а, он, он! — Улыбается скромно — так сказать, улыбкою ветерана. — А потом-то... В тридцать седьмом году...

Мы готовы сочувствовать: кто не знает, что творилось в 37-м!

— Да уж, тогда заслуги не спасали, — вставляю я.

— Кулаки его — они и ... Ее тычок куда-то в сторону служит символом обрыва мужчиной судьбы.

Вот те и раз! Кулаки? В 37-м году — какие же кулаки? Или кто-то из них отомстил ему? А не так ли, что попал под общую массу репрессий, а жене, с ее партийной совестью, и по сей день легче жить с этой версией про кулаков, может, ею же и придуманной?

Прошли мы и в комнаты, рассмотрели ткацкий станок, на котором делает она половики. Подошли к большой, явно бывшей церковной, иконе, узнали, что Василий Петро-

вич был верующий, имелось у него много книг, он читал. Ульяна эти книги после его смерти продала, вот только Библия осталась. Библия лежала тут же — толстый том "ин октаво". Ветхий и Новый Завет крупной печати на русском и церковно-славянском языках.

— А Ульяна Павловна читает ее? — спросил Юра.

— Не читает, она и не видит-то.

— А вы сами?

— А я неверующая. А иногда, правда, заглядывала, интересно, хоть партийная! Как сказки-то читаешь, так и это! — смутясь, засмеялась она.

И Юра не выдержал: может, продадут? Как бы в память о Василии Петровиче? Мы Юру поддержали: в хорошие руки попадет, по крайней мере, сказали мы. Но она не решала.

— Дождитесь золотки, дождитесь! Чаю попьем, я самовар поставлю, после чаю и спросите!

И верно, после чаю всякий разговор становится проще. А пока, чтоб время не упустить, сказали мы, что пройдем за Бредины, к брошенной деревне, — походим полчасика и вернемся.

Вышли, и Юра стал советоваться: уговаривать ли ему хоз-яйку или не надо, неудобно? Надо! — в один голос ответили мы. Здесь Библия или пропадет, или все равно продадут ее кому-нибудь другому. Вряд ли возьмут ее в Мурманск, а возьмут — молодые родственники выбросят или там уже, в городе, спустят по дешевке ради ненужных денег, ради случайной выпивки. Юра воодушевился: у него есть дома Библия на церковно-славянском, и он давно мечтает за-иметь на русском языке, чтобы, наконец, получить возможность почитать не второпях, одолженную, а не спеша, свою. Вот, не сглазить бы, и удачный случай.

В трехстах, не дальше, метрах, была эта деревня Берег. И опять, как при словах "Фомин Конец", слышался особый смысл в названии деревни. Был ли тут когда-нибудь "берег" — реки или озера? Нет, не похоже. Всюду голое про-странство, без оврагов и холмов — сухое место. И наверно, не от общеславянского корня "берег" — гора, высота, вы-

сокий берег, а от "бергти" — беречь — произошло название деревни: берегли, сберегали, не сберегли... "В начале было Слово" ... Теперь же слово это — Берег — означало с десяток раскиданных на больших расстояниях изб, одна громадина величественнее другой — эта развалина разрушистей этой ... Все шестистенные, все в два этажа, все с хозяйственной частью. Все брошенные. Не знаю, чем объяснить, но многие из них выглядят так, будто каждая — гигантский медведь, которому в двух местах перешибли хребтину, и вот разваливается медведь на три части — передняя отпадает и клонится наперед, задняя отваливается и назад оседает, а середина держится еще, хоть и с выгнувшейся крышей. Пусто, мертво. И только стожки говорят нам, зачем здесь бывают люди.

Прошли мимо изб, осмотрев где остатки росписи, где резьбу на полотенце и висячую четвертушку ажурного солнца, подошли уже к последнему дому, когда появилась из него невысокая, сухая бабка в зеленом платочке, с косою в руках и, слыша — не слыша наше "здравствуйте", принялась не то что ругаться — а громко вещать в белый свет: и ведь ходят! ходят эти туристы, чтоб их не было, не ходили бы никогда! — мне люди сказали: иди! туристы пошли! вот иду — украдут чего! Пойду посмотрю — чего ходят! трое пошли, иди, говорят, ах, Господи, ведь сколько уже народу! — что надо-то? ведь нету ничего! а идут, в дома заходят, а чего, чего им ходить-то? ай воровать?!

Так она продолжала свою обличительную речь несколько минут, но видя, что мы стоим около и с любопытством и, главное, без раздражения слушаем ее, будто к нам эти тирады никак не относятся, стала говорить уже спокойнее и обращаясь за сочувствием, которое мы поспешили выразить такой, примерно, сентенцией: "Люди, бабушка, разные, есть плохие люди и хорошие; а туристы такие же люди, как все, вот и среди них тоже негодяи попадают".

— Правда, правда, разные! — с готовностью согласилась она и рассказала, какие эти туристы бывают. Ночевали у нее туристы, все иконы выпрашивали, чтоб купить, а она отказала, и утром в магазин ушла, а соседка догоняет —

иди, говорит, иконы твои унесут, пошла обратно, смотрит — взяли иконы, нету на месте, — ах вы, бесстыжие! совесть-то у вас есть? — ну-ка доставайте, что взяли! — они и достали, вот тут на траву положили, нет, чтоб все на место отнести! где взяли! чтоб все на место! — они и отнесли.

И еще было много подобного рода случаев. И мы дружно поносили этих туристов, которые и местным жителям досаждают и из-за которых к нам, вполне добропорядочным людям, вызывают подозрительное отношение. Очень мне хотелось спросить у нее: где же те иконы теперь? Гниют по-прежнему в этом разрушенном доме? Или все же отдали кому? Незачем спрашивать. Эта мутная волна, вымывающая иконы из таких вот, как это, заброшенных мест, — чего только не несет она в себе! И ажиотаж, и наживу, и тупую моду. Но она же спасает иконы — хоть пусть и прячет на московских и ленинградских квартирах, да зато не дает им сгнить здесь, да зато, наконец, показала и бабкам, что бросать их не надо в пустых домах на произвол судьбы. Да в Турчасове шесть лет тому назад я лазил в покинутый дом, где иконы валялись на полу, обрушившись вместе с киотом, и жалеть приходится только о том, что не все мы унесли оттуда. Два года по вторникам, вечерами, отмывали, чистили, реставрировали мы их под руководством опытного человека — и, может быть, по-детски, но я горд, что проделал всю эту работу, и горд, что хранятся они у нас — не Бог весть, какие ценные, но укрепленные, чистые, покрытые сохранным лаком. Они не пропадут. И сын наш знает, что иконы на улицы не выбрасывают — как в Аминьеве, в черте Москвы, где совсем недавно в сносимых домах горели среди мусора и иконы. Мало кто, раздобыв иконы, возится с ними так, как возились мы, но по крайней мере, хранят их в сухости, в условиях городского жилища, — разве же это плохо?

Но я ломлюсь в открытые двери. Здравомыслящим ясно: в таких местах, как то же наше Каргополье, единственное спасение для икон и для церковных книг — это вывезти их отсюда, как ни безнравственно такое деяние не выглядит. Вывезти, конечно, не посредством воровства!



Но рассчитывать на государство? На музеи? Экспедиции? Кто думает так, пусть увидит рассадники плесени и сыпучий левкас на иконах в каргопольском музее в соборе Рождества Христова.

— Давно ли, бабушка, деревня брошена?

— Шесть лет никто не живет. А была деревня — сорок домов.

— Сорок?! Не верится... Вот это глухое место?..

— О-о, бога-ато жили! Поля хлебородные были! По восемь коров держали — для навоза, на поля возили. Вон туда и за лесом — все наши были поля.

Коров — для навоза? Людям сведущим, это, наверно, не так удивительно, нам же, невеждам, и в голову не могло прийти, что коровам случалось бывать не столько фабриками молока и мяса, сколько фабриками удобрений и, значит, фабриками хлеба. То есть прежде было: корова для хлеба, теперь же — хлеб для коровы! То есть до того дошло, что сельский кругооборот наоборот крутится.

А бабка говорит и говорит — с охотой, с чувством и с умом. В двадцать четвертом году все началось, когда стали вывозить хлеб подчистую: собрали урожай — все заберут, сеять нечем. Так и пошло. А в коллективизацию разорили деревню. Разорили именно потому, что была богатой, и, значит, репрессиям, высылкам — "раскулачиванию" подвергли большинство семей. Подрубили хозяев, подрубили хозяйства, и деревня уже не оправилась. Люди уходили, а уже заново никто не строился. И вот шесть лет назад заколотили последний дом. А из окрестных деревень молодые уходят и уходят.

— Вот Елена-то наша, она умеет сказать, складно у нее получается, как же она сочинила-то? — а вот послушайте, как сказала, старая она, а умеет:

Напишу письмо я Брежневу:  
"Спаси ты край родной,  
Не гони ты молодежь в город  
Со земелюшки родной".

Бабка дважды повторила это четверостишие — с заметным удовольствием, с нарочитою выразительностью и волнуясь. Спросили ее, сколько ей лет. Оказалось, семьдесят восемь. Было непонятно, загордилась она или обиделась на наше неверие, когда мы вперебой стали давать ей не больше семидесяти. Ее городской дочери, сказала она, пятьдесят один, и она толста, устает от работы и пешком поспеть за матерью не может.

— Работать надо, работать! Пока работаешь — здоровье есть. Вот Василиса наша — это сколько будет? — восемьдесят второго года она?

— Девяносто четыре.

— Во-от, а в лес пошла, обабки собирать, ей говорят — не дойдешь! — дойду-у! — заблудися, — не заблужуся-а, во как! Вот я и кошу. Вона стожки-та, — все мои, продам совхозу.

Узнав, что пришли мы в дом Василия Петровича, она просветлела:

— О-ой, Вася Терешин, ой, хороший мужчина был, Царствие ему Небесное! Болел он, ох, болел. Мы к нему ходили, грамотный был, книги нам читал, книг у него много было, так она-то, Ульяна, продала все, говорит, стащили у нее туристы, да врет она, продала, тридцать-то пять-то рублей по почте ей прислали — это за что? а? — да за книги и есть, как помер, так и продала, нехорошая она, а он-то все читал, читал нам... И как же там было в книгах, не помню, а он говорил: "Смотри, Наталья, все было в книгах, как будет-то, вот как сейчас, не приняли вразумления, и земля опустошилась оттого — умны на зло, а добра не умеют". Все-таки в книгах было, как нынче-то происходит, и время указано!

На этом сетовании, что сбылись пророчества, мы и расстались, она пошла в разрушенный дом, где сушила сено, а мы отправились назад в Бредины.

В избе Терещина была уже и вдова его Ульяна Павловна и еще одна старуха — с крупным, грубым, как неровная картофелина, лицом и низким неразборчивым голосом. Сама же Ульяна Павловна — она и недовидела и недослышала — с фальшивинкой засуетилась вокруг нас, заговорила тихо-немошно, с протяженностью и с жалобой — нету, нету Василь Петровича, помер он, как же, как же, получил фотографию, порадовался, не застали вы его, ах, Господи!..

Юра опять достал его фотографию, ее взяла в руки гостыя-соседка, глянула — и ахнула басовито-длинно, как спела:

— Вась-ка-а-а?

— Ой, как сидит-то, ой, сидит! А это у него клубок-то, пляте-от. Ой, Вася на-аш! — стали бабки рассматривать и комментировать вперебой, — заулыбались, завеселились, — ну, ни дать ни взять, двенадцатилетние дети, смеются, тычут пальцами в картинку, всплескивают ладонями — слов нам было почти не разобрать, но сценка выходила такая, что и мы не удержались от веселья, которое пришло к нам неизвестно отчего, и вот уже все хохочут, и Ульяна под очками выпирает заслезившиеся от смеха глаза.

В кухне на печке готовился самовар, и нас все просили чуть подождать. Хлеба в магазине не оказалось, но зато купила там хозяйка щепоть гвоздиков — починить на кухне хозяйственный столик: совсем отвалилась передняя стенка, заменившая половину дверцы, от которой уже и помину не было. "Мужчины-то у нас нет", — смеются старухи. Я взял дощечки — кто-то им сделал планочки по размеру — спросил молоток и начал возиться со столиком. Только застучал, как из-под него появилась кошачья морда, а следом — два робких очаровательных котенка двухнедельной, наверно, давности. Мое дело было совсем пустяковым, но всюду, куда только я ни старался вбить гвоздь, оказывалась труха, и пришлось повозиться довольно долго, пока удалось хоть

как-то заделать дыру. Велся какой-то старушечий разговор, басовито, с подъемом что-то излагала гостя, но никто из нас ее не понимал: речь была совсем безразборна, а возможно, и бессмысленна. Едва позвали к чаю, бабка ушла — ее не пригласили, не остановили.

Сидели за столом вокруг самовара, пили чашку за чашкой, было клюквенное варенье и "калитки" — на толстом из белой муки корже с подвернутыми краями была запечена, как на сковородке, перловая каша, и это оказалось весьма приятным кушаньем.

Хозяйки вспоминали о прошлом. Опять так и ходили по одним и тем же кругам, — вспоминалась коллективизация, да только иначе вспоминалась, чем недавней бабке с косой: та вспоминала, как разоряли да ссылали, а эта, мурманская, чей муж организовывал здесь колхозы, говорила сокрушенно и с гордостью:

— Ох, и трудно же было! Всю партийную работу почти в одиночку провел, с помощником только! Все на нем было, тяжело!

Сидим за самоварным чаепитием, пользуемся гостеприимством, на лицах внимание, а что там у нас, у гостей, в головах наших, бабкам не видно. У меня же — и насмешка, и жалость, и злость, и недоумение — все мешается, и мысль ворочается такая: ну-ну, один-то человек — и всю округу разорил, и верно, нелегко, какая на него легла нагрузка, а только разве сопротивлялись? — навряд ли, он не один — за ним сила, за ним — власть.

А она продолжала уже о себе: она перед войной работала в Ленинграде на продуктовых складах, а когда война началась, доверили ей сопровождать эшелоны с детьми — "я же партийная, меня со складов направили с продуктовым вагоном, потому что доверяли", — и она проделала так несколько концов туда и обратно, семь эшелонов с детьми отправила, однажды попала в бомбежку, и ее контузило. Рассказала еще, как на мурманском побережье, когда взяли Рыбачий, велели убирать убитых: идут женщины по месту боя, только и лежат — наши и немцы, наши и немцы... — "я

мертвых видела столько, сколько солдаты за всю войну не видели”.

Самовар велик, мы расслабились и, как видно, Ульяна Павловна тоже: отойдя от суеты и неожиданности, поотдохнув от похода в магазин, начала она повествование о событиях времени их дальней молодости — ее и Василь Петровича.

Василий был крепкий, здоровый, большой мужчина. До смертельной болезни своей не болел ничем. Это она у него болезненная была, а он всю жизнь на ногах прожил, в силе и во здравии. Однажды зимою запряг Василий лошадь в сани: ехал он сопровождать своего друга-жениха, который отправлялся в дальнюю деревню ”за невестой”. Что это значило ”за невестой”, — объяснить не могу, но, возможно, то было какое-то традиционное приглашение к свадьбе — невесты и ее родных. В деревне, опять по традиции, пили, и когда поехали Василий с женихом обратно, были они совсем пьяны. В дороге оба и заснули, а лошадь тянула-тянула сани, сошла с пути, завезла нивесть куда, ступила на реку, на лед. В полной темноте от толчков и тряски и лошадиного ржания очнулись мужики — сани шли в ледяную воду. Василий уже был по пояс, жених соскочил на лед, вытянул и Василия, который на морозе быстро костенел, покрываясь коркой. Отбежали через сугроб, выбрались на берег, но с каждым шагом двигаться Василию становилось труднее и труднее: вода и снег схватывались жестким толщенным панцырем и превращали в одно и нательное, и штаны с налитыми чугунными валенками. Совсем стало худо, когда набитый во все пространство под широкие, длинные полы тулупа замерзнувший мокрый снег сделал из Василия тяжеленную ледяную куклу. Он успел еще добрести до какой-то тропы и замер неподвижный. Он не мог уже говорить. Не чувствуя уже тела, он не упал, а как остановился — так и вмерз в дорогу многопудовым колоколом. ”Вася, друг, вот те крест, не помру сам — спасу тебя! Приведу людей, Вася!” — обещал жених и побежал в темноту.

В деревне, когда подступило к ночи, заволновались: и

жена Василия и в семье жениха ждали уехавших еще засветло. Тут, верно, знали, что бывает, когда после пьянки в мороз выезжают. Под плач и причитания кум Василия запряг лошадь, еще двое сели в сани, отправились искать. Как уж искали, о том рассказа не было, но среди ночи наехали на темное — стоит! На сани колодой завалили, да так, зная уже, что везут мертвеца, и поехали домой. А в деревню, меж тем, добрался жених, кто-то из дружков Василия взял его за грудки: "Где бросил?!" — "Едем, едем, укажу место, да помер, помер Василий, замерз!" — заплакал жених. И еще одни сани выехали — искали, искали, и, возвратившись только, узнали, что здесь Василий, привезли его и теперь отхаживают. Отхаживали так: мочили в горячей воде рогожи и ими его обкладывали. Лед медленно стаивал. Василий не шевелился. Из соседней деревни призвали фельдшера, тот все слушал пульс и не мог уснуть. Он взялся делать искусственное дыхание и, сменяясь с Васиным дружкой, бился до изнеможения, не бросал, говорил: "Пусть мертвый, сколько сил есть, буду спасать". А потом вдруг через несколько часов, будто замерзшая в жилах кровь отогрелась и струнулась стружкой, прослушали: бьется! "Живой Васька, живой!". Пошло на лад. Перенесли Василия на печь, и там он еще трое суток лежал пластом, пока не шевельнулся и не начал глотать кипяток. Фельдшер так и велел: поить его чаем горячим, поить все время, и в этом одном спасение. И спасли: начал шевелить губами, смотреть, пальцами двинул, рукой. Ноги были черные, ногти на них отпадали, и сказали люди, что везти Василия в больницу надо, и не миновать ему остаться безногим, но все же фельдшер, который как брата любил Василия, не допустил: растирал, отпаривал, мазал — остались ноги живыми. Две недели пролежал Василий на печи, отпотевал. Потом спустили его и перетащили тяжелого на постель — тоже близко к печке устроили. Там провел он ползими и встал. А к весне и думать не хотел, каким был недавно ослабшим: набрался прежней силы и так всю жизнь оставался крепок. Только на девятом десятке рак подкосил, угас Василий Петрович...

Эту историю Ульяна Павловна не в первый раз, наверно, рассказывала. Речь ее хоть и сбивалась на странные отступления, и нить не раз ускользала, однако в повествование было вложено много эмоций. Ульяна Павловна и руками всплескивала, и щеку ладошкой сокрушенно подпирала, но стояло за этим ВОСПОМИНАНИЕ, — может быть, самое яркое воспоминание из далекой молодости. Как будто и радость, и удовлетворение сквозили в ее интонациях: вот ведь — было! Было это! И теперь рассказать, и вспомнить, и удивить людей можно.

А верно! Разве же не удивительная история, разве не веет от нее — ну, богатырским чем-то, былинным? Разве не образ ли это — Василий Петрович, которого сам Мороз-воевода победить не сумел! А та начальная подробность, что случилось-то все по пьяному делу, — она, сия подробность, какое же она имеет значение? И ничуть она не снижала образ, точнее, не снижала бы, если б не стоял перед глазами образ другой, из другой, сегодня же рассказанной истории, с такой же начальной подробностью: сын бабки Маривьяны, который тоже по пьянке уснул на морозе, лишился обеих рук и теперь живет, калека, в запое, в ужасе.

Чаепитие шло к концу. Нас угостили еще и подсоленной, с неизбежным душком, рыбою из Мурманска, запили ее стаканом-другим, но нельзя было позволить, чтобы хозяйки тратили на нас свои запасы: у них и хлеба к столу было только-только. Ульяна Павловна сходила зря, не достала в магазине. И чай-то хороший — тоже из Мурманска, и мы записали адрес, чтобы прислать индийского — "со слоном". Встали из-за стола, начали собираться, и Юра, как условлено было, спросил про Библию. Как, Ульяна Павловна, не уступите ли? Сказал, что не просто так он спрашивает, что стариную занимается всерьез, уважает прошлое, и знает многое, и эта книга была бы у него дома как ценность, как вещь нужная и, добавил он, и мы повторили, как память о Василии Петровиче и его доме. Ульяна Павловна заколготилась, стала рассказывать, что украли у нее книги, а потом, мол, деньги выслали, а ей в деревне верить не хотят, что украли,

а эту книгу как же продать? — ей, не могу, не могу, уж простите меня, простите! И видно было, что могла бы продать, что хочет, да и понимала — мы ей хорошо заплатим, но до этого не дошло. Чувствуя себя под руководством мурманской родственницы, она все ждала, как та ей скажет. А та, послушав молча, проговорила: "Пусть останется пока".

— Еще приедете! — обрадовалась старуха, и голос ее зазвучал фальшивостью. — Приедит-тя! Никому не отдам, вас дожуся! Как приехали через пять лет, еще приедете, доживу я! Ничего работать не буду, а доживу! Простите меня, старую, простите!

Уговаривать не стали. Распрощались, пожелав здоровья, высказав надежду, что, даст Бог, и вправду, может быть, еще приедем, — и пошли мы из Бредин опять через поле, к церкви, мимо скотных дворов, мимо конюшни, где Юра не преминул огладить лошадиные носы и сунуть под большие мягкие губы сена. По дороге решили окончательно, что ночевать у лесника не будем, нам и сейчас не хотелось идти к нему, и так как до вечернего автобуса было часа полтора, мы задержались у погоста. Тут Юра, чувствуя осадок от прощания со старухами, схватился сбегать в магазин, откуда несли теперь хлеб, затем помчался к леснику, взял там из рюкзака консервную банку с говяжьей тушонкой, вернулся к погосту, и мы быстрым шагом снова пошли в Бредины. Там я остался на улице, а Юра с Таней вручили хозяйке банку и буханку хлеба. Все это, по-моему, к обоюдной неловкости оказалось, но очень уж Юре хотелось как бы выключить тот разговор о Библии из всего, чем согрело нас гостеприимство и что, как хотелось показать хозяйкам, оставило в нас благодарность, вовсе не зависимую от просьбы о книге. Ульяна Павловна была искренне растрогана, подслеповато глядя вслед нам с порога, повторяла она "спасибо, спасибо, не обижайтесь на меня, спасибо, приезжайте!" — и все это было щемяще: старуха, которой недолго, дом и деревня, которым тоже недолго, и мы, кому быть здесь еще только час, — и все отойдет, мы точно знали,



навсегда от глаз, от свежей памяти, отойдет в то прошлое, что зовем мы Воспоминание, и теперь вот цепляюсь я удерживать на крючках кривых букв еще не совсем иссохшее, как будто можно что-то удержать, если все — из той хляби, из коей вода и земля, и которые хлябью же и остались, потому что текучее все, переменчиво, не дается ни в руки, ни разуму, и сыплется дождем и расслабляет глину, и с нею смешивается как будто опять и опять вождедеет, что выйдет из глины опять Адам, новый, не Ветхий, а — Новый, и все на земле пойдет по-иному.

Мы сели на крыльце у лесника скоротать последние полчаса. Жена его спросила только: "А в комнату что ж?" — "Не беспокойтесь, подышать хотим", — она не стала больше ни в дом приглашать, ни к чаю. Сказали, что дождемся автобуса и поедем, и она тоже лишь констатировала: "Мало вы". Мы сослались на погоду, и это объяснение всех устроило. Подошел лесник. Теперь, к семи вечера, он держался совсем молодцом. Рассказал, что сын поехал к реке на мотоцикле. Дорога там совсем плоха. На реке кто-то взял их лодку, — мотор, припрятанный в кустах, остался, а лодку взяли. Но, думает он, вернут, это здесь обычное. Человек бесхитростный, давал ли он нам понять, что так и так не удалось бы нам съездить на озеро? Мы, разумеется, еще раз повторили, что какое тут озеро! — мы не остаемся, погода прогоняет возвращаться в Каргополь.

Заговорили о хозяйственных делах. Сейчас ему главное — заготовить сено. Косят все, вся семья, сын, приехавший погостить, тоже взялся. Да вот поясница... И тут выяснилось нечто, поразившее нас с Таней, но не Юру, который знал лесхозовские порядки. Оказалось, что лесник — и не лесник вовсе!

— Большой у вас участок? — спросил я.

— Обход, — уточнил Юра то, что я имел в виду.

Лесник заулыбался широко.

— Большой, — сказал он с удовольствием.

— Что, до Лекшмозера? — Я знал, что туда — километров за двадцать.

— Хо, до озера! До Карелии самой. За озером тоже мой обход. Область Архангельская кончается, там Карелия, Вологодска, Ленинградска смыкаются, от этого угла — все мое.

— Как же справляетесь? — поразился я. — Там и дорог нет.

— А как? — улыбался лесник. — Я там и не был ни разу.

— Не были?! А как же? Ну — квадраты, просеки, чистить — начал было я, но лесник лишь улыбался на мои наивные вопросы.

— Я в лесу-то не бываю, — сообщил он весело.

— Почему не бываете?

— А некогда. План-то давать надо?

— То есть?

— Ну — счас вот сено, то грибы — хорошо, бабы соберут, возьмешь у них, то клюкву давай — прошлый год подвода была, с подводой по дворам ездил, собирал у баб, а счас лошади нету. То в Каргополь вызовут — строить для сельхоза. Аль жерди заготовлять. Так все идет. Когда ж в лес? Там ничего не делаем.

Удивительные вещи он говорит!

— Ну, а вдруг там у вас, за Лекшмозером, сгорело все? Как вы узнаете, что пожар, например?

— А сообщат.

— И как добираться?

— Никак. Горело однажды, так вертолет дали. Погасили.

Юра стал объяснять: лесхозам спускают план заготовок на, так сказать, "дары леса". Сено тоже играет не последнюю роль в этом плане. Лесхоз, как и все у нас, подчинен известному принципу "давай-давай!" — а что будешь давать, если станешь заниматься наблюдением за лесом, его санитарией, обходом, прорубками и прочим, что прибыли никакой не приносит, а, напротив, требует затрат?

— Ну, так пусть кто-то занимается заготовками, а кто-то прямой обязанностью лесника! — высказал я нечто трезвое.

— Средства нужны, — ответил Юра.

— Люди не идут, — добавил лесник. Не лесник то есть, — заготовитель.

То-то он и не знал даже, как устроен его компас! Лежал у него дома компас необычной формы: толстенький усеченный конус, налитый легкой жидкостью, в которой плавала стрелка, а воздушный пузырь давал горизонт наподобие ватерпаса. Я тогда, увидев утром этот компас, поинтересовался, вращается ли шкала, — сам побоялся ее покрутить, "А не знаю, — ответил лесник. — Не пользовался. Это я вон холодильник по нем выставлял, чтобы ровно был". И чего я тогда уставился на лесника в изумлении? Вполне здравая мысль употребить эту штуку в хозяйстве, вот если бы он стал из него бензин выливать в мотоцикл, — это другое дело, это было бы неразумно и нанесло бы порчу государственному добру.

Покидая лесника, увозили мы чувство недоумения, оставшееся от него и его семьи, и еще — увозили обратно московскую бутылку водки, которую намеревались вручить хозяину, да только к этому ни повода, ни желания у нас так и не возникло.

Пришел автобус. Перед тем, как сесть в него, постояли, глядя на церкви. Обновленные маковки светлели даже и весело (писал бы для "Комсомолки", то написал бы — "задорно"), и мы были довольны.

— А хорошо ведь съездили?

— Хорошо! Много успели.

— Сколько заходов было!

Так обсуждали мы отходивший день, смеясь, и было в самом деле хорошо. Вообще-то, как можно не повторить еще и еще раз: чудесной была вся наша поездка по Каргополью, даже погода не могла нам ее испортить.

Каждым днем тамошней жизни были мы довольны. Как, впрочем, и все вокруг нас.

Среди местных жителей, на фоне общего людского однообразия, встречались два резко выраженных антропологических типа. И тот и другой воспринимались как противоположные полюсы, между которыми располагалась вся масса лиц — весьма обыденных, мало обращающих на себя внимание, а просто говоря — невыразительных, "без искры". У принадлежащих к одному из полюсов отсутствие "искры" накладывало отпечаток не только на выражение лиц, но, как можно было бы подумать, сказывалось на самом их строении, как и на всей форме черепа. У этого типа людей черепа небольшие, округлы, костисты, глазные впадины у них глубоки, надбровные выступы и скулы заметно выражены, а нижняя часть узкая, с небольшим подбородком, и их рот слабо очерчен, — часто вытянут узкой щелью, а иногда с губами толстыми, размазанными. Встречая таких людей, думаешь, что они, возможно, принадлежат к определенному этническому типу? Или мы видим черты вырождения, которыми на этих лицах уже отмечен результат распространяющейся здесь тенденции? Или, в более успокоительной догадке, они — представители немногочисленной недоразвившейся, какой-то остаточной группы людей? Делать какие-то выводы, даже размышлять серьезно по этому поводу невозможно без достаточных знаний в этнографии, в исторических, социальных и прочих близких к ним сферах. Можно лишь фиксировать увиденное — и свои вопросы, вопросы, вопросы... Не меньше вопросов возникало, когда встречался другой полярный тип, неизмеримо более редкий. Это были действительно уникальные экземпляры, причем всегда только старцы. Длинные, тонконосые лица, пронзительные глаза, густые красивые брови, длинные бороды — истинные патриархи, аристократы породы, полные достоинства даже в своей неподвижности. Сидят они, опираясь на палки, и смотрят на мир так, как будто выполняют наказ,

обнаруженный нами среди многих страниц той книги, что дали нам в Холуях: "Зри!" — было написано карандашом на полях. Страницы именно "зрили". Судя по всему, к такому же типу принадлежал и Василий Петрович Терешин. Что же, и это — этнографический тип, некогда здесь распространенный? И что же, куда этот тип девался? Или в старцах осталось то, что уходит с сегодняшних лиц? В пользу этой догадки говорит, пожалуй, то, что среди молодых подобных писаных лиц не видно — по крайней мере, среди молодых мужчин. А вот кое в ком из девушек что-то близкое этому типу встречается: есть среди них такие, у которых те же тонкие носы, лица очерчены овалом, глаза умны и внимательны. Вложила ли в них природа свою надежду на спасение веточки здешних людей — всего лишь прутика на древе человечества? Или они — побег уже усыхающий? Вот начнут, как во многих местах, и каргопольские женщины пить — и прощай, надежда природы!

Мы шли по дороге на Волосово и обсуждали не первый раз все ту же тему: что происходит с этим краем, что происходит здесь с людьми? Еще раньше Таня обронила слово, которое стало нас преследовать: "Выморочное" — это относилось и к деревням, и к посевам, и к людям. Только что не к траве. Как же развилась тут всеобщая вымороченность? У нас рождались схемы, даже теории...

Схема была такая: еще в начале двадцатых годов стали подсекать развитие хозяйства, и стимул к дальнейшему их развитию ослаб. Возможно, уже тогда поколение "детей" впервые стало отворачиваться от деревни, почувствовало, что здесь человеку энергичному, самостоятельному, деловому трудно будет проявиться. Тогда это могла раскусить лишь часть поколения, но именно активная его часть. Толчок к уходу из деревни был дан. Коллективизация, одновременно с тем, как начали по стране много крупныхстроек, повлияла на состав деревенского населения с сокрушающей силой: поколение "отцов" в его лучших, плодотворных, крепко на земле стоящих стволах было вырублено, из них оставались деревца невзрачные, хилые, от кото-

рых и потомство шло соответственное. Поколение детей еще быстрее и легче стало рвать с деревней — те из него, кто, опять-таки, стремился к чему-то. А среди оставшихся старых и, особенно, молодых, на поверхности деревенской жизни держались отнюдь не хозяева, а "руководство" — проводники чужих указаний, ораторы, погонялы — "деятели". Через десять лет — война. Когда прорывы затыкались не танками, а человеческим мясом, то людей брали тоже отсюда — молодых, сильных. (Трудно взять в толк, отчего никак не поймут наши пропагандисты, что цифру о двадцати миллионах погибших на войне им удобнее было бы не так часто упоминать: ведь цифра эта обращается против пропагандистов, лишь подумавшись, какая доля из этих двадцати пала жертвой идиотизма и неподготовленности!). А после войны, в деревенскую голодуху, люди в деревне уже научились лишь пересиживать тут свою жизнь. Ни сытости, ни хозяйства, ни свое нельзя, ни от общего толку нет. Живи кто как может, все равно хорошо жить не будешь! Так тридцать лет шло. Как сказал мне один человек с сарказмом: "Воспитание-то у нас какое? — колхозное!" И вот теперь: тут в последние годы, действительно, заработки поднялись, и механизатор и доярка могут получить больше, чем городской рабочий. Понятно, стремятся удержать в деревне людей. Но — уходят, все равно уходят. Ничего не хотят, ничего не нужно на этих вымороченных местах. Вот как покидают разоренные, сожженные селения, чтобы строить на новом месте — так уходят из деревни, будто не верят, что здесь, на прежних развалинах можно построить настоящую жизнь. Но кто-то и остается, — это менее активные, малоспособные, без хватки, без желания самому своей судьбой править. Ими правят другие, да и управители деревенские — из таких же.

Такова у нас вышла схема, и, пожалуй-то, все в ней общеизвестное. Просто появилась у нас необходимость осмыслить увиденное — хотя бы на такой вот простейшей цепи причин и следствий.

Точно так же, как эту схему, стали развивать мы и теорию, тоже очень простую.

Как в организме, так и в народе, в обществе в целом или некоторой его части, в данном случае — в деревенской, должен идти непрерывный естественный "обмен веществ". Жизненные потоки в массе народа, двигаясь по всем направлениям, всем сферам человеческого бытия, и осуществляют нормальное функционирование общества. И вдруг искусственным образом нарушили что-то: отсекли от общества какую-то его часть, которая вырабатывала необходимые ферменты. И обмен стал нарушаться: стало в организме одних веществ в избытке против естественного, других стал недостаток. В той же деревне, где ХОЗЯИН был ценнейшим, необходимейшим веществом, его с трудом сыщешь. А УБОГИЙ, который и всегда в деревне существовал, теперь распространился сверх меры.

А к городу нельзя ли применить ту же теорию? Например, к интеллигенции? Кого она "выделяет"? Все смещено, все нарушено, сбиты нормы, бессмысленны цели, и полное раздолье наглým и разбойным. Рак крови.

Но это совсем уже отвлечение, города мы зря коснулись. Мы идем в деревню Волосово (местные зовут — Волóсово), ловим попутку в сторону с тракта, и нас подвозят, почти сразу от остановки автобуса, еще километров пять до молочной фермы. Там сошли. Вот было зрелище! Под навесом знаменитая "елочка" для дойки, а вокруг — ого-роженное жердями навозное месиво, загон для коров. Коровы стояли в этом месиве ну не по колено — на треть метра, во всяком случае. Когда-то держали коров для навоза, теперь он не нужен, что ли? — держат в навозе, который замешивается на дожде и на глине.

Волосовская церковь видна издали: дорога идет вдоль Онеги и силуэт ее то и дело показывается за лесом. Вошли в деревню, и тут я сделал открытие: сложной формы сруб посреди механизаторского двора — это же бывшая церковь! Не удержался и, увязая сапогами, пролез к ней, заглянул в двери: там стояли станки, поверху проходила подвеска тель-

фера. Отдельное от домов, обсаженное по тылу деревьями, место это, без сомнения, было некогда погостом. Теперь это погост для ломаной техники.

Свернули к шатру знаменитой Никольской церкви. Она действительно хорошо стоит, — в стороне от улицы, на широком пространстве перед рекой. Приблизились и увидели: трапезная провалилась. Балки перекрытия топорщатся в беспорядке, среди них валяется главка, — как будто выпала из сумки луковица и боком теперь лежит.

У ближайшей к церкви избы стояла старуха.

— Бабушка, здравствуйте. Скажите, церковь когда обрушилась?

— Прошлым летом. Ветер был сильный.

Ветер, ветер виноват. И никого не надо "качать законом" за повреждение памятника, — ветер, ветер, один только ветер, дунул посильней — и упала маковка, и обрушилась крыша. Что там говорят об этом "дороги к прекрасному"? — "вы ощутите эпическую силу этого творения онежских плотников".

Ходим по просторному кладбищу. Ближе к реке много новых могил, а на старых кочках скашивают сено. Рядом с церковью — основание отбитого чугунного креста и надпись, слова которой отлиты с детской беззаботностью по отношению к знакам препинания и стихотворному порядку строк:

ПОКОЙСЯ ПРАХ ДУШИ  
БЕСЦЕННОЙ В СТЕНАХ  
ОБИТЕЛИ СВЯТОЙ НАСТАНЕТ  
ЧАС БЛАГОСЛОВЛЕННЫЙ  
ТОГДА УВИДИМСЯ С ТОБОЙ.

Мы разбрелись по широкому месту. Таня издали зарисовывала церковь. Я делал снимки крестов над рекой. Юра бродил поодаль, потом скрылся, а вернувшись, сказал, что можем попить молока.

Угощал нас двенадцатилетний Сережа. Мама его уехала в Каргополь, он остался за хозяина, по-хозяйски же себя



вел, пустив нас в дом, налив молока, — остатки вчерашней дойки. От денег он отказался, и монеты пришлось просто оставить. Сережа обстоятельно отвечал на наши расспросы, говорил медленно, подумав. Их у матери трое, еще меньший брат и сестра постарше. Вчетвером здесь и живут. Мать работает в совхозе, дети в школу ходят. Школа в Усачеве, — это за восемь километров. Раньше туда возил школьников трактор, сейчас они остаются жить в интернате. Об отце Сережа не упомянул, — и мы не стали расспрашивать. Этот рыженький мальчуган оставил отрадное впечатление. Смышленный, здраво-рассудительный, он с нами, с незнакомыми, нездешними взрослыми, держался в простой, естественной манере, что в его воспитании и в быте его семьи позволяет предположить совсем не поверхностные основы. Дай-то Бог, если это так и если Сережа не обесцветится, не обессмыслит, выйдя через семь-десять лет на общую дорожку.

Мы сделали до Усачева полпути, когда нагнавший "рафик" посадил нас и довез до сельсовета. Выпитое у Сережи молоко от голода не спасло, и мы сразу направились в столовую. Там дали нам то, что было, — картофельный суп и гречневую кашу. В конце концов, и это вовсе неплохо. Мы оказались единственными посетителями, и столовские девушки тоже пристроились за столиком поесть супчику, они тихо говорили между собой, что заведующая поехала за мясом, — а привезет ли? Кормить рабочих нечем, прям стыд. А зимой, ей сказали, еще хуже будет, прям, — что? — закрывать, что ли? Милые девушки из столовой — такие же милые, как в Каргополе, — все еще не потеряли способности переживать отсутствие мяса! Нет, положительно, в вас вся надежда! Если кем будет спасен народ, то только вами!...

До вечернего автобуса было далеко, и мы провели в деревне часа два, сперва все поглядывали вдоль дороги, в надежде увидеть попутку, потом начавшийся в очередной раз дождик подал нам неплохую идею зайти в библиотеку.

Библиотека размещалась в двух комнатках, вернее, собственно книги были лишь в одной, а во второй, совсем

маленькой, вроде прихожей, сидела библиотekarша, стояли каталожные ящики, стол с газетами и стенд "Книги о родном крае".

В Каргополе сравнительно неплохая библиотека, если неплохой можно считать подборку книг последних двадцати лет. Но в районную библиотеку, наверное, полагается поставлять большинство выходящих изданий, иначе откуда бы взялись тут и последний однотомник Ахматовой, и недавний Булгаков? Они есть в каталоге, но на полках отсутствуют с момента поступления, и библиотekarша — на вид умненькая, со знанием дела молодая девица, — равнодушно сказала, что кто-то как взял, так и держит. Кто бы это мог быть? Приезжие? Местный учитель? Или... сама же эта девушка? Да стоит ли возмущаться? Кто и когда рассказал каргопольцам об Ахматовой и Булгакове, чтобы хоть десяток местных жителей догадался требовать их на абонементе?

Спросили мы у девушки, что же нет старых книг? Неужели раньше не было в Каргополе библиотеки? Была, ответила она, но из того здания когда переезжали (куда переезжали, — сюда? — в этот ужасный дом, где библиотека и загс выходят на жуткие, вонючие лестницы, на какие-то задворки?!) — во время переезда старые книги списали. (Между прочим, на Библии, которая в доме покойного Василия Петровича, обнаружили мы штамп "Каргопольская уездная библиотека").

— Значит, в макулатуру отдали? — не то спросил, не то отметил я для себя.

Девушка усмехнулась, и что ее усмешка значила, я не очень понял.

— Отсюда тоже надо половину в макулатуру, — сказала она.

— Что именно?

Она мотнула головой в сторону полок рядом с собой. Там было всякое политиканство-обществованство, и я взглянул на девушку с еще большим интересом.

А здесь в селе Усачеве совсем было худо. Разрозненные

тома кое-кого из классиков и — по целым полкам, по два десятка экземпляров — то, что обязательно по программе школы, например, "Горе от ума", "Герой нашего времени". Остальное — книги членов союза писателей, типа мерзкого Арк. Васильева. И, разумеется, та же макулатура, что и в районной.

В Усачеве я тоже разговаривал с библиотекаршей, женщиной средних лет. Читают ли? — спросил я. Она сказала, что читают школьники до четырнадцати лет — что у них потом в головах происходит, ума не приложу! — воскликнула она даже в сердцах, — и еще читают пенсионеры. А молодежи, работающему люду не до книг.

— У вас за стеной клуб, — что, ходят в клуб?

— Закрыт у нас клуб, уже год, — вздохнула библиотекарша. — Нет человека, не могут найти. Не идут на эту работу.

— Почему же? Оплата маленькая?

— Тоже и оплата, а работать трудно. Никого в самодеятельность не привлечешь, а работу спрашивают, ругают. В Каргополе в этом году на курсы, на клубное отделение, ни один человек не пошел, а на библиотечное — двое только. Уж без экзаменов берут, а все равно некого.

Итак, на селе по-прежнему пытаются гальванизировать клубную работу. Содержат эти курсы, готовят людей, — но клуб как был, так и остается помещением для кино и танцев. Давно это всем видно, — но как же быть селу без Очага Культуры?! И как переменить что-то однажды придуманное, даже и пустое с самого начала? Пусть как шло, так и идет.

Еще мы поговорили с библиотекаршей о возросшем благосостоянии. Я сказал, что, судя по новым избам, по кое-какому движению людей и машин вдоль улицы, совхоз выглядит богатым, и люди здесь, наверное, живут неплохо. Она согласилась.

— Кто молодые остаются, те строятся. Вон совхоз дом на шестнадцать квартир стал делать...

Стройку эту мы видели, она как раз напротив столовой. А вскоре познакомились с нею поближе. Вдруг остановился

около нее автобусик, отправились поскорее туда и от шофера узнали, что повезет он в пять часов отсюда строителей — домой, в Каргополь. "Если второй автобус придет, то вам места найдутся. Всего двадцать человек".

Мы уже не уходили со стройки. Двадцать человек работало на этом двухэтажном доме! Не многовато ли? Остановился рядом прораб, и от него мы узнали, что еще в марте, когда он принял дела от своего предшественника, здесь уже готов был первый этаж. И, значит, двадцать человек тянут стройку уже по середину августа, и конца не видно: будут спешить к ноябрьским, сказал прораб, но могут и не поспеть. То того нет, то этого.

Рядом сгружали кирпич. Его бросали из кузова вниз, кучей, кирпич был паршивый — рыхлый, в трещинах и щербинах, и удивляло, что кололись не все брикеты, а через два на третий.

— Я смотрю, балка у вас под балконом сломана, — завел Юра с прорабом профессиональный разговор. — Как это ее?

— А задели краном. Это ничего, мы ее срежем.

Балконная плита лежала на трех выступающих из стены так называемых "консольных" железобетонных балках.

— Что, две должны выдержать? — осторожно спросил Юра.

— Выдержат, — уверенно ответил прораб.

— Тогда зачем же в проект эту третью заложили?

Резонный вопрос, но ответ оказался неожиданным:

— В проекте никаких балок нет. Там для балкона совсем другая плита заложена. Так не достали такой. Пришлось выкручиваться. А и две выдержат, — снова успокоительно повторил прораб.

— Н-да, — сочувственно произнес Юра. — Не по проекту делать, — это хорошо, когда с приемкой будет в порядке.

— Примут! — убежденно сказал прораб. — У нас тут, знаете, сколько менять пришлось? Того нет, этого нет. Ничего, крутимся.

Кто-то узнал уже, что вторая машина из города вышла,

и так как с первым автобусом не все хотели ехать, нашлись места и для нас.

— Кажется, балка совсем не для консольной нагрузки, — еще раз посмотрел Юра на дом, прежде чем мы сели.

Юра был специалистом как раз по такого рода делам и знал, что говорит.

Про бетон, про то, как строят, как нарушают проекты и условия, Юра нам рассказывал немало. Одна из его историй имеет прямое отношение к здешним местам, и ее стоит вкратце изложить.

У нас производят много удобрений. Не коров, опять же, держать для удобрений, если теперь есть химия! Производят удобрений много, а половина их гибнет. Удобрения пропадают оттого, что не хватает складов для их хранения непосредственно уже в хозяйствах, близко к местам использования. Много гибнет прямо под открытым небом, а многое гибнет даже и под крышами хранилищ, так как хранения для этого плохо приспособлены. Оказывается сплошь и рядом, что помещения, которые специально были построены под хранение удобрений, быстро приходят в негодность, начинают давать трещины, разрушаются, словом, становятся не способны служить своей цели — предохранять вещества от порчи. Положение с этими хранилищами катастрофично, а что у нас обычно делают, когда что-то не ладится? Создают комиссии. Так же поступили и в данном случае, и специально по проблеме "Хранилища удобрений" создали комиссию, и не простую, а Постояннодействующую! и Межведомственную! — потому что, ясное дело, проблему разом не решить, пусть комиссия и существует всегда (вместе с проблемой?) и, кроме того, проблема касается и химии, и строительного искусства, и сельского хозяйства не в последнюю очередь, и еще снабженцев, отчего и постановлено, чтобы была она как бы между всеми (и ничья конкретно). Наш многоуважаемый Юра вошел в комиссию как специалист по железобетону. Казалось бы, он-то и должен был стать за столом комиссии настоящим свадебным генералом, так как хранилища из железобетона-то и строили

в последние годы. Вот бы и стоило такого Юру взять в оборот: а ну-ка, товарищ, это по вашей части, из-за чего хранилища недолговечны? Какие будут ваши рекомендации?! Анализируйте, сопоставляйте, в общем, работайте, товарищ!

Как бы не так! Анализировать и сопоставлять стали другие — специалисты по металлу, по дереву, пластмассам, клеям, химикам и многие другие. И прежде всего они решили проанализировать, как ведут себя хранилища в районах с очень нехорошими, прямо гадкими климатическими условиями, которые — где бывают? — ну, конечно же, близко к морю! И вот комиссия поединично и группами из трех человек начинает инспектировать состояние хранилищ на Прибалтийском побережье и на Черноморском побережье. Долго ли, коротко ли она инспектировала, но пришла к заключению: бетонные хранилища разрушаются, а значит, строить надо не из бетона. Металлисты сказали, что строить надо из металла, деревянники, что — из дерева; кто-то сказал еще что-то.

А Юра повел себя странным образом. Он сказал, что хочет обследовать состояние хранилищ в условиях обыкновенного, банального, вовсе не экзотического резко континентального климата с суровой зимой и дождливыми весной и осенью, также и с жарким летом. Где бывает такая погода? А на нем, на Русском Севере, где, кстати, почвам удобрения очень и очень нужны. Короче говоря, и у Юры своя корысть была: ах, так? — думал он, — вы хотите на морские курорты? — ну, а я буду ездить по Северной Двине, по Архангельской да Вологодской областям, мне тут интересно. Он и ездил, не пропускал сфотографировать избу или церковь, но фотографировал он немало этих самых бетонных хранилищ, и из сделанных снимков явствовало определение: бетон не виноват, виноваты люди, их халтура, беспхозяйственность, неразбериха. Строили кое-как и кое из чего, что было под рукой, — вот как строился дом в Усачеве: нет одних плит — заменим другими, нет такой балки — поставим эту, полагается швы как следует проварить и за-

герметизировать специальным составом, — а-а, лишнее это, обмазывать да вылизывать! Сдали, подписали, свалили удобства — и началась коррозия арматуры, начался процесс разрушения железобетона.

Комиссия продолжала постоянно и межведомственно действовать. С Юриным взглядом на суть дела не согласились. Он изложил собственное мнение отдельно, опубликовал несколько научных статей. Кто-то и где-то разрабатывает сейчас новые типовые проекты хранилищ, новые рекомендации. Все идет своим чередом.

Ну разве не дополнение к общей картинке?

## XVIII

Наступил день, когда нам с Юрой надо было разъезжаться в разные стороны, и Юра должен был отсюда отправляться на Печеру, чтобы там продолжать путешествие в паре с одним своим знакомым. А нам предстояло свою поездку вскоре заканчивать, и мы хотели за оставшееся короткое время добраться дальше к северу от Каргополя, в два местечка ниже по Онеге.

Рано утром этого дня к нам в гостиничный номер постучали. К нашей неожиданности, объявился начальник лесхоза. Казалось, все Юрины дела с ним заглохли, не успев начаться, и теперь неудачливый внештатный корреспондент стал говорить, что он мог бы и сегодня съездить вместе с начальником, но только в первой половине дня, так как потом пора уезжать, а вот моих друзей, — стал Юра просить, — может быть, после обеда свозили бы в Красную Лягу?

— Нет, я уж!.. — махнул рукой начальник. — Некогда мне. Я уж вам дам машину, а вы сами.

— Без вас-то как? Ведь вы должны объяснить, чтоб я мог написать, — начал Юра.

— А не надо! Ладно уж с этим! В другой раз. Вы в Красную Лягу хотите? Поезжайте. Я сейчас только тут съезжу недалеко, а через час машина будет ждать у гостиницы. До обеда обернетесь.

Наше ликование было беспредельно. Мы уже окончательно простились с надеждой увидеть церковь в Красной Ляге (недалеко, да надо день потратить), и вдруг лесхозовский начальник решил все-таки удружить! Быстро довез туда "козлик", и когда церковь открылась, когда остановились, вышли из машины и минуты две постояли на месте, глядя, я сказал:

— Наконец-то! В последний день ощутить его, это "очарование". Ни скотских дворов, ни грязной дороги, ни проломленной крыши. Что хотите со мной делайте, но будь она прекрасная трижды, а когда то одно, то другое напоминает о маразме!.. Не могу я отдаваться безраздельному любованию, если вокруг вопиет или церковь сама вопиет... А тут...

— Значит не зря на Север приехали? — не упустила Таня, чтобы меня не поддразнить. Дразнила и радовалась — радовалась и за себя, и за меня, за всех.

Церковь эта обшитая и с выполненными в плоском дереве "барочными" украшениями. Разумеется, это отход от суровой традиции, но красивое есть красивое, и уж как я общелкивал и крыльцо и апсиду, и деталь, и общий вид!

Постепенно выяснилось, что мое упоение волшебным местечком было слишком поспешным. Две-три разрушенные избы аккомпанировали виду церкви. А рядом с нею в зарослях травы оказались остатки ее сестры — вероятно, небольшой, той, что служила зимней. Погибла она, можно предположить, не слишком давно: тут и там, как головы побитых древних воинов, лежат железные маковки.

Через пролом в двери зашли мы внутрь церкви и увидели привычный разор. Всюду брошены смытые до дерева иконы — судя по толстым старым доскам, выделке ковчега и иконок, настоящей мастерской работы. Сохранился иконостас, и когда я прошел за него и поднял голову, то замер от неожиданности: над жутью запустения, обломков и гря-



зи, на потолке — на небе, растресканном, полусмытом, выцветшем, распластал два белых тонких крылышка голубь... Он — осенял! — все это!?

Здесь, замученный, брошенный, забытый, слабый и беспомощный, — он еще обнимал своими крыльями жестокий мир, предавший его! Вот где он обитал, оказывается, изгнанный отовсюду!..

У меня такое чувство, что мы, я и голубок, поговорили друг с другом. И он печально выслушал все горькое, что я ему сказал.

Теперь я думаю: это малооправданное очарование, которому я безраздумно поддался, едва оказавшись в том месте, — не оттого ли оно возникло, что Он там живет? И не подавал ли Он мне знака с самого начала, чтобы я непременно пришел к Нему?

## XIX

Юра уехал, а назавтра и мы покинули Каргополь. Ранний автобус после двух часов ходу привез нас в Архангело. Село это лежит на архангельском тракте рядом с паромной переправой через Онегу. Остановились тут на день, нам предстояло решить, заночуем ли мы в Архангело или вечером уедем дальше и устроимся на ночлег уже в последнем нашем пункте — в селе Конево.

На почте нам позволили оставить рюкзаки, и мы пошли в правление совхоза. В большой комнате, где за столами сидело тут и там человек пять, мы спросили, нет ли в поселке дома для приезжих. Худощавый, сухой, чрезвычайно деловитый мужчина в кепке и в как бы комиссарской куртке осмотрел нас.

— Дома для приезжих нет. Есть помещение, в нем живут. Строители из Архангельска. А вы кто такие будете? — строго спросил он нас.

В ответ на это я решительным, мужским, усталым шагом

прошел к столу. Размеренным движением вынул паспорт — пусть видит, что есть при мне паспорт, — а из паспорта сложенный аккуратно листок — на бланке с красным орденом красиво отпечатанное письмо, в первый раз (и в последний) развернул я его пред светлые очи официального лица. "Писатель имярек... сбор материалов... просим оказывать..."

— А-а, понятно, — удовлетворенно сказала комиссарское лицо и улыбнулось той особенной, той серьезной улыбкой, какая возникает у тех, кто "причастны" — положим, причастны к инструктажу в обкоме или к закрытому докладу, на котором скажут, например: "Понимаете, товарищи, что за этим стоит?" — и тут-то и надо улыбнуться особой улыбкой, при которой глаза говорят: как же не понимать? — все понимаем, будет сделано!

— А то у нас тут много проходимцев бывает, — любезно пояснило нам официальное лицо. — Туристы разные, студенты, всякий народ ходит. Что у нас, Трофимов, есть места в интернате? — обратился он к вошедшему человеку, который был в длинном пальто, сапогах и шапке, — из тех людей, что "мотаются", тогда как начальник руководит. — Тут вот товарищ. Писатели они с Москвы. Письмо есть. Просят помочь. Как там, найдется им переночевать?

— Комната, может, есть, да кроватей, не знаю.

— Не обязательно кровати, — сказал я, — у нас все с собой есть, нам, главное, крышу от дождя, вот и все.

— Напиши, Тимофеев, кто там? — Елена? — пусть устроит, — велел начальник, оторвал тетрадный листок, дал его Тимофееву, и тот, бедняга, сел сочинять: "Предписание. Прошу подателю сего тов. ..."

Нам объяснили, где этот дом: желтый двухэтажный, сразу за паромной переправой, слева на горке. И еще мы стали расспрашивать, как добираться до Никольского, где нам надо было увидеть часовню.

— Это им до Троицы, там перевоз есть, а в Никольском никто не живет, — включились в разговор присутствующие.

— Я в Троицу поеду, — сказал начальник. — Через час, примерно.

— В Троице Онегу переедете, а там дорога есть, километра три пройдет, — стал объяснять нам один из сидящих. — Сначала пройдет елки — это деревня была, потом березки будут, в этом месте другая была деревня, а потом уж Никольское. Там одна бабка живет.

— А она живет? Там кто живет? — недоверчиво спросила женщина.

— Живет она, живет.

Итак, все у нас устроилось: дорогу разузнали, ночлег нам обещан, до Троицы начальство нас подвезет. На крыльце правления совхоза, под раскрашенной стенгазетой среди плакатов и лозунгов "Технике ни часу простоя!" особенно уместно было задуматься: каким все же почетом и уважением окружены писатели в нашей стране! Ну, может, не таким, как вышестоящее партийное руководство, но и к писателям у нас относятся как к "аппаратчикам", вообще как к тем, кому покровительствуют власти самые главные. Церковь от государства отделили, зато объединили с государством литературу. Администраторы на местах это знают.

Мы завернули на почту, договорились, что рюкзаки полежат до нашего возвращения, и пошли пока на край деревни к двум церквям, стоявшим прямо у дороги. Одна из них с интересным, так называемым "кубоватым" покрытием, но весь верх переделан в железо, которое сейчас ржаво, и с близкого расстояния и сам куб и главки на нем выглядят как нагромождение старых баков и бидонов, брошенных когда-то за ненадобностью. Церковь заперта, в ней, возможно, склад. Снаружи, на углу над бурьяном, где валяется какой-то металлолом, прибита жестянка с облезлой надписью: "Учебный класс". Повеселился кто-то? Или действительно в церкви учили каких-нибудь механизаторов? Сейчас тут глухо. И вряд ли возможно пустить людей внутрь: и крыльцо сгнило, и окна зияют, а кое-где заткнуты грязной ветошью, главное же — сруб резко отклонен от вертикали. Наверное, не очень большой нужен ветер, чтобы потом уж некого было карать законом. Второй, стоящей рядом церкви с купольным завершением ника-

кая, даже липовая охрана больше не нужна. Похоже, что над ней поработали изнутри, так как в развале и весь подклетный низ и внутренние стены, сорван пол и ободрано небо. Это дела людские и недавние. Верх иконостаса цел, там сохранились деисусные иконы позднего масляного письма. Значит, рушили не во времена воинствующего богоборчества, а просто так, ради бревен, ради дров, и брали снизу, что под рукой, а теперь же до верха трудно добраться, вот и висит иконостас меж землей и небом.

Вернулись к правлению, стали ждать нашего благодетеля с машиной, но прошел условленный час, и кто-то сказал, что начальник не возвращался, кто-то, напротив, видел, как он снова куда-то уехал. Но затем появился грузовик, шедший в нужную нам Троицу, и шофер взял нас обоих в кабину.

Троица — одна из совхозовских деревень, там и гараж, расстояние до Архангело только девять километров, движение тут непрерывное, но, о боги! — что же это за километры! Половину из них грузовик лишь переползает, с такой опаской ступая в каждую очередную рытвину, будто там под лужей таится некая местных масштабов Нэсси, готовая цапнуть за колесо. Но если не Нэсси, то гаек, болтов, тяг, пальцев, шпонок там, я уверен, великое множество. Даже на сравнительно приличной дороге в Волосово они попадались на каждом шагу, а еще где-то шофер автобуса остановился, вышел и вернулся с гаечным ключом в руках: "Семнадцать на девятнадцать! — широко улыбаясь, сообщил он. — Редкость. Пригодится". Воистину золотые у нас дороги! Сидящие в их лужах Нэсси утягивают к себе на дно не одни только мелкие железки, а тысячи приходящих в негодность машин, горы рабочего времени, целые человеческие жизни, потраченные на эти ползания по колдобинам. Девять километров взяли почти полчаса! И ведь не какая-нибудь глухомань медвежья, — рядом тракт, совхоз не беден, могли бы и сделать эти несколько километров. Но не делают. Я, конечно же, не открываю ничего нового. Сколько веселых рассказов про российские дороги, мне ли претендо-

вать на особенные наблюдения, предложения, мысли! Ох, нет! Не мне. Предложений я не внесу, а наблюдения и мысли вынесу свои личные, и таковы они у меня, что только и повторяю почти что вслух: плюс, плюс, еще плюс. Плюс ко всему тому, что накопилось. Наш век называют веком сократившихся расстояний. Я соглашаюсь: чтобы узнать Россию, потребовалось Радищеву проехать из Петербурга в Москву шестьсот верст. А сегодня достаточно и девяти: из Архангело в Троицу.

— Красивое место! — восклицаю я, когда перед нами открылась бугорчатая придорожная полянка, которую недалекий лесок обходил стороной.

— Деревня была, — сказал шофер.

К гореловым, нееловым, неурожайкам теперь можно добавить "Небылово" — очень бы распространенным оказалось это название.

Въезжаем в Троицу. Она нас встретила — как это пишется в архитектурных руководствах для путешественников? — великолепной доминантой: два каменных величественных храма, возведенных руками славных, талантливых, умелых, народных и пр. и пр. русских зодчих, чтобы прославить красоту, силу разума, народную хватку и пр. и пр. (но не Бога), и превращенные славным, талантливым, умелым и пр. и пр. русским (советским) народом в два безобразных, зияющих дырами, обколотых, обезглавленных, обгорелых притона для грязных механических зверей — два храма-притона редкостной величины, редкостной жути.

И они прекрасным образом стояли над Онегой, и потом мы увидели их с дальнего берега, даже с расстояния в несколько километров были видны их высокие стены. И они составляли прекрасный ансамбль — меньшая, вероятно, была похожа на каргопольские, — хотя, при ее состоянии, я никак не могу быть уверен в оценке. Но в "дорогах к прекрасному" упоминания о них нет, — и не о чем уже упоминать, и стыдно.

Спустились в речную пойму, ища перевоз. Там косил подросток. Он сказал:

— Кричите.

С той стороны была небольшая деревня.

Распахнув что было мочи свои легкие, я прокричал двумя порциями:

— Лоо-дкааа-а!..

Красиво разнеслось! Где-то отдавалось, затихало. На той стороне, у близкой к воде избы что-то розовое мелькнуло, и показалось, будто детский голосочек крикнул: "Мам-каа!" Появилось теперь желтоватое, покрупнее, постояло и ушло. Мы стали ждать. Когда дело касается транспорта, первое правило — это уметь обождать. Обождавши, опять (и слова-то — все почему-то на "о") лодку прокричали. Розово-желтое мелькание на том берегу повторилось. А Онега несла и несла мимо нас свои заметно бегущие, полные в этом дождливом году, маслянистые, плотные воды, и ход их говорил о силе природы, которую преодолеть человеку ой как не просто.

У наших ног стоял шикарный катер — из тех, что не дешевле автомобиля, с мягкими сиденьями и круглым штурвалом, приборной доской.

И тут как раз двое — один молодой, с открытым лицом городского вида, другой средних лет, наверно, здешний, спустились мимо нас и стали отвязывать катер.

— Вы не на ту сторону?

— Что, вас перевезти? Садитесь.

Ка-ак ррразвернулись мы дугой через Онегу! — и полминуты не прошло, как мы вылезаем на том берегу среди тишины, в заливчике между деревьями.

Внезапно серым клубком некий бормочущий и кричащий вихрь налетел на нас из-за кустов и бранью разорвал покой полуденной природы:

— А вон кто! Вон кто! Ездют! Ездют! Чего кричат! Сенокос, чего ездют! Я думала кто! — а эти, тьфу, чего ездют! работать не дают, не кричите! Лодка, лодка! Все лето, только вас-то, никого больше, вози, вози!

Кричала, плевалась, размахивала руками старая бабка, на которую молодой парень смотрел с великим интересом

и не без юмора. Когда мы оправились от шока, я попытался бабушку остановить.

— Чего кричите! — стал я увещевать ее. — Что вы нас поносите? Вы же нас не знаете, надо на нас кричать или нет?

— Знаю вас! Все вы такие! Ты чего орешь — лодка, лодка!

Я развеселился.

— Бабка! — закричал и я. — Бабка, тебя Никола-угодник накажет! Он всем помогает, кто на воде, а ты на нас кричишь! — Я с удовольствием нес эту чушь. — Накажет тебя Никола, ей Богу, накажет! — предсказывал я.

Продолжая шуметь, бабушка улезла в кусты.

— Что, хлеб у нее отбили, что ли? — спросил я у парня. — Может, ей заплатить надо было, а то не досталось, вот и кричит?

Парень, усмехаясь, пожал плечами.

Наверху, у берегового схода был край деревни, и у ближайшей избы увидели мы желтое и розовое — те платья, что виделись издали. На нас смотрели женщина и девчонка лет семи.

Спросили, верно ли идем на Никольское. Женщина подтвердила, что верно, что если идти вдоль берега, то, хоть и не везде река будет видна, хоть и не везде заметна дорога — по ней уже не ездят, — так, по Онеге, и придем в покинутую деревню.

Впервые за все эти дни припекало. Мы шли налегке, при нас был лишь рюкзачок с едой и плечеными плащами, и, избегая на береговые пригорки, прячась в кустарниках, уклоняясь на край засеянного поля, то колеями, то тропкой дорога вела нас около близкой реки. Никого не слышно было и не видно, время от времени только неслись откуда-то звуки урчащего трактора. Судя по свежим колеям, трактора тут ездили, и в некоторых местах колеи так просели в мягкую торфяную почву, что в них стояли вытянутые озерки. Чтоб их пройти, высоты сапогов не хватало, и приходилось огибать озера в кустарниках или по лесу. Что на этом поле росло, понять было трудно; ярко-зеленые

стрелки культуры плохо, редко и невысоко росли среди вполне жирных сорняковых трав.

Где мы прошли сперва елки, а потом березки, обозначающие места двух деревень, которые с лица земли исчезли, заметить так и не удалось. Но вот с высокого берега открылся речной подол, и на спусках к нему и у воды появились избы и амбары. Все было брошено. Сюда сворачивала наезженная дорога, по ней мы спустились и прошли среди полуразрушенных строений. Люди тут бывали. Валялись шестерни и болты, ветошь и ведерки с тавотом, жгли здесь костры и на углях белели рыбы кости, блестели водочные бутылки, — все говорило за то, что был тут стан механизаторов, где они ночевали и занимались ремонтом техники. За деревней дорожка пошла среди высоченной травы заливного луга, и только забредя в болото, мы поняли, что тропинку протоптали косцы, наметавшие здесь несколько стожков, а дорога должна быть где-то наверху, над поросшим березами крутым склоном. Перешли болотину, взобрались — и правда, оказались на дороге. Спустился еще километр ходу показалась за поворотом крыша избы. Над трубой ее вился прозрачный дымок. Дома, значит, бабушка, единственный обитатель Никольского. Открылась тут же и деревня, разбросанная по пригоркам высокого берега, и шатер с чешуйчатой главкой появился. А на дорогу навстречу нам выходила из своей избы старушка — с клюкою в одной руке и чайником в другой.

— Здравствуйте, бабушка!

— Здравствуйте.

— Клавдия Александровна — вы будете?

— Клавдия? Надежда я.

— А нам сказали, только одна в деревне бабушка, Клавдия Александровна, вот и подумали, что вы это.

— Живет, живет она. На том конце.

— А вы, значит, тоже тут живете, она, получается, не одна в деревне?

— Я-то не живу. Прихожу я. Из Ануковского. Днем приду, а ночью-то в Ануковском, у людей.



— А ваш дом, собственный, значит, вот этот?  
— Этот мой, этот. Да боюсь я, не остаюсь в нем.  
— Что он — старьё, обваливается? — не ночуете в нем?  
— Не-ет, одна боюсь-то, вот почему. Мало что случится. Пьяный мужик забредет, что делать будешь. И в лес я одна боюсь идти. Всяко бывает. В Троице вон женщину убили. Суд был, засудили его.

— Женщину? Как же случилось — женщину?

— А муж пьяный. Поленом. Пришел домой пьяный, поленом убил.

Дикость. Ходим мы, смотрим, видим только поверхность жизни. Нам ли ее осмыслить. И что осмыслить в ней, в этой жизни: ее смысл или ее бессмыслие?

Сухонькая, старенькая, мерзнувшая под чем-то стеганым, говорила бабушка медленным, слабым голосом. Как видно, ей было по сердцу, что люди слушают ее со вниманием и сочувствуют тому, что слышат.

— А давно тут не живут?

— Шесть лет. Клавдия-то летом только живет. Она с сыном. А я одна. К ночи уйду. А зимой никого нет. Никто сюда не проедет.

— Большая была деревня?

— О-ой, милые, семьдесят дворов!.. Большая, богатая. Хорошо жили. А когда было-то? — давно... Все травой заросло, все поля. Травы много, скосят, а убирать кто будет? Людей нет. Сгниет. Каждый год так — все и сгнивает. Этот раз летом воды много, дождь, трава вот такая.

— Да, сегодня вот только солнце.

Она обернулась лицом к его свету.

— Солнышко ты наше сугревшее!.. — ласково сказала она.

Можно было возрадоваться и растрогаться до слез, слыша такие слова от немощной бабушки. Таня, кажется, была к тому близка.

— Как же вас никто не возьмет отсюда? Вы одна? Никого нет родных-то?

— Сорок лет без мужа. А сын. В Конеево живет.

— Что же он? — как же допускает, что вы тут одна и у чужих ночуете?

— Сноха ему не велит. Пусть, говорит, свекровь в своей усадьбе живет.

— Ох, бабушка, что же она за человек такой! А сын-то что? Родную мать!

— Так-от, милые, так-то... Тяжело здесь. Худо с ногами. Ходить далеко. Я в Троице жить буду. Дом куплю в Троице, там магазин, люди есть. А тут и воду брать к реке ходить надо. А с ногами больными трудно.

— Это вы за водой — с чайником?

— За водой, ну.

— Так давайте, бабушка, чайник, я схожу.

— Ох, да беспокойство-то. Ну, спасибо тебе, дай Бог здоровья, помощь старухе будет.

— И куда — вниз? Вон туда вы спускаетесь?

— Тропкой, сынок, тропкой, она и приведет, где я беру, мостки там, благослови тебя, Господи!

Я стал спускаться. Склон был крут, протоптанная дорожка петляла в траве и между камнями. И она со своими больными ногами, со своим посошком так спускается сюда за несчастным чайником воды? Глядя снизу вверх, можно было прикинуть, что высота здесь не меньше двадцати пяти метров, спуск выглядел почти отвесным.

Пока я ходил за водой, Таня узнала, что страдает бабушка радикулитом, что ей помогает тепло, но у нее никаких растираний нет. Мы записали адрес, Таня обещала выслать тюбик "эфкамона".

— Спасибо, люди хорошие, спасибо, дай вам Бо... — слышали мы напутствие ее, отправляясь дальше по улице бывшей деревни.

Часовенка стояла чуть сбоку, пониже. От нее был виден поворот реки и дали другого берега в обе стороны. Мирно, покойно, светло, а обернешься — мертво и жутковато. В дни нашего путешествия не однажды говорил я себе, что это, должно быть, пасмурная погода больше всего повинна в тягостном впечатлении от картин, увиденных тут. Плохая

погода все мажет серой краской — омрачает мысли, темнит настроение. Но сейчас вот сияло солнце, блистала река, голубело небо с белыми облаками, разгорелись оттенками зелени травы, — но и пустые окна стали чернее, и забытые доски выделились тенями. Пустые окна и у часовенки. Звонница, которая вроде бы "еще более усиливает впечатление нарядности здания", на самом деле готова рассыпаться вот-вот или рухнуть вниз, потому что, нависая над необычным белокаменным крыльцом, не досчитывается она опор, и навес уже кренится. Сруб еще неплох. Цел внутри потолок. В часовне свила гнездо ласточка, и наше присутствие заставляет ее с беспокойным криком влетать и вылетать сквозь оконный проем.

Прошли чуть в гору, к дальнему краю деревни. Там стояла изба, вид которой был жилым, на крыльце сушилась посуда, на плетне проветривалась одежда. Дверь была приперта палкой. Отойдя еще немного, мы сели на траву и вынули съестное. Питья у нас не было, идти вниз к реке не хотелось, да и сырая желтая вода внушала опаску, поэтому стали есть всухомятку. Вскоре две старые женщины с корзинками в руках подошли к жилой избе и, не открывая дверей, присели на ступеньках крылечка. Некоторое время они сидели, глядя издали на нас. Потом одна из них встала и небыстро пошла в нашу сторону, но как бы и не в нашу, по дуге, причем и смотрела она не на нас, а подальше, где за кустами паслось десятка полтора бычков — наверно, из той деревни Ануковское, которая где-то поблизости. Но и на нас, оказавшись рядом, старуха глянула раз и другой мимоходом, мы поздоровались, она ответила нам, отошла шагов на десять, там постояла, глядя на стадо, и повернула обратно. Когда она вновь поровнялась с нами, я спросил, нельзя ли у них взять воды, и чтобы не подумала она, будто нам надо еще что-то, кроме воды, я стал поспешно объяснять, что сели пообедать, а едим сухое, жарко, пить хочется, если бы можно в баночке, я бы принес сюда сам, напился бы, и я баночку принесу обратно. Она как будто уверилась, что ничего другого за словами нет, что, действительно,

сидим мы здесь ради трапезы, плохого не высматриваем, и сказала коротко:

— Можно воды. Налью.

— А Клавдия Александровна не вы будете?

— Я это.

— Нам в совхозе сказали, что вы только тут и живете.

— Вы про меня-то почему их спросили?

Она была явно насторожена.

— Да нет, просто так. Ну, как вам сказать? — придем сюда, мы же чужие, деревня пустая, пожилой человек может и побояться, а когда имя-отчество знаешь, так вроде и поздороваться лучше, правда же?

— А я теленка смотрю. — Она все не хотела показать, что шла сюда на разведку. — В лесу были с сестрою. Обабки собирали.

— Много грибов?

— Набрали.

Я дошел с ней до избы, поздоровался с ее сестрой, успокоил и ее, сказав, что пришли смотреть на церковь и сейчас уйдем.

Клавдия вынесла литровую банку с водою, я вернулся к Тане, и мы, запивая хлеб с тушонкой, дообедали с полным уже удовольствием.

Возвращая банку, я немного поговорил со старушками. Удивительный контраст! Та бабушка, которую мы первой увидели здесь, живущая одна, покинутая, больная, смотрела на нас приветливо, говорила без настороженности, а эти две, при которых есть здоровый молодой мужик, хотя и побеседовали со мной — расспросили, кто мы, откуда, есть ли дети и сколько, отвечали и мне на мои вопросы, но все это шло со скованностью, и в любой момент можно было сказать "до свиданья" — и с тобой распрощались бы без поддержки. Неужто и здесь туристы досадили до последней степени? Не похоже. Никольское в стороне, не каждый сюда придет. Но в любом случае — как же быть с чем-то исконно человеческим, что не позволяет наглухо отгородиться людям от людей? Но, как видно, такое возможно вполне, и

слишком часто мы наталкиваемся на разной толщины перегородки, чтобы их посчитать единичными.

Но нет, народ не таков, говорю я себе, как думается под влиянием минуты! Вот вернулись мы обратной дорогой из Никольского к Троице, и снова нужен нам перевоз, а перевозчицы нет, а лодку без нее угнал кто-то, нам видно, что лодка стоит под тем берегом, а людей нет, и нам не переехать, и нам еще в Архангело, а день к концу, и почта, где вещи наши, скоро закроется — что же делать? — и женщина, та в желтом, нам сочувствует, говорит, что бабка-то, перевозчица, шестьдесят рублей получает от сельсовета — вот ведь, оказалось как! орала на нас, а за что — за то, что должна была сделать за свою же зарплату! — и тут возмутился плюгавенький, никудышный, блажененький мужичишка, пастух, который луку нарвал в огороде у женщины, и говорит: "жалко же людей! перегоню я вам лодку!" — сел в долбленку, что непонятно как не тонет под ним, переехал, подвязал на другой стороне реки долбленочку к лодке, вернулся к нам, а мы уселись, я взял весла, а к рулю села Лена, девочка лет четырнадцати, и ее сестренка с нами поехала, та, в розовом, и переправились мы все вместе, а они погнали лодку обратно, и мы друг другу долго еще, сколько видно было с дороги, махали, прощаясь, и было в эту минуту нам хорошо — не бросили нас, помогли!..

Вот он каков народ!

Если народ — это только и есть последние из разнесчастных старух, да юродивые мужичонки, да малые дети.

## XX

В Архангело, куда мы вернулись, паром перевез нас на правый берег, где в доме школьного интерната нам был обещан ночлег. С этой же стороны шел автобус на Конево, к последней цели нашего путешествия.

На паром с неимоверной крутизны берегового спуска вкатился грузовик, взошла женщина с девочкой, втащили и мы свои рюкзаки, присели у перил на лавку. Паромщик отвязал конец, поставил руль, понтон уже повело течением, как вдруг со склона, разметая сапогами комья грязи, посыпался к парому человек, отчаянный мат его далеко разносился окрест над притихшей вечерней гладью реки. У человека руки и ноги вертелись как мельничные жернова, — он не бежал, а пребывал в непрерывном падении, и так и умудрился он влететь на паром, который перевозчик едва удержал в полуметре от сходней.

Человек был пьян в той высокой степени, когда владеют собой ценою огромных усилий. Ему это удавалось. Может быть, держался он в предвкушении дальнейших возлияний: непочатая пол-литровка торчала из его кармана.

— Николай, — обратилась к нему женщина деловитым тоном, — выпил-то просто так или с получки?

Тот ответил неопределенной матерщиной.

— Деньги получил сегодня за работу? — не смущаясь ни состояния мужика, ни его непрерывной брани, спокойно выясняла женщина, видно было, что с полувменяемым пьяным говорить ей было так же привычно, как и с несмышленным ребенком: терпеливо, да с повтором — глядишь, своего и добьешься. Так и вышло: Николай сумел сказать, что деньги получил. А сколько? — интересовалась женщина. Он попробовал увильнуть, матерился, но все же потом ответил, что тридцать семь.

— А мой — одиннадцать, — сказала женщина.

Пьяный поносил работу начальников, которые все есть "блядь", и в таком лапидарном стиле выразил суть своих производственных отношений с ними:

— Бригадир, блядь, говорит: "Иди жерди рубить!" — "Сам руби! На хуй мне".

Женщина воспринимала его слова сочувственно, и, кажется, смысл этой ругани ей был ясен. Мы же могли оценить лишь художественность его речений.

Сошли на берег, поднялись по откосу. Желтый двухэтаж-

ный дом, явно общественного назначения, стоял налево от дороги, как нам и говорили. Он был глух и оказался на за-  
поре. На двери красовалась глубоко прорезанная надпись:  
"Дом ебли". Школьный интернат, подумали мы, предназна-  
чен не для этого. Пришлось поискать другой дом. Местополо-  
жение и вид его оказались совсем иными, чем нам было  
описано, и жили там не строители, а, как потом оказалось,  
присланная из Архангельска рабсила для сенокоса — завод-  
ские технологи и конструкторы, несколько шоферов. Из  
дверей вышла молодая женщина, постучала в комнату к  
мужчинам, появился парень в очках, — с внутренней сторо-  
ны дверей была приколата фотография обнаженной деви-  
цы, — парень сказал, что места полно, две свободных комна-  
ты, устраивайтесь где хотите. Я прошел по коридору, осмо-  
трелся в комнатах. Доверия они не внушали. Там и дверей  
не существовало. Всюду сор, клочки бумаги и окурки,  
валялись водочные бутылки, — что как ночью явится сюда  
пьяная бражка или придут заниматься тем самым делом,  
для которого был тот первый дом? У меня появилось ощу-  
щение тревоги. Таню, которая осталась с рюкзаками у до-  
роги, вести сюда не хотелось. Уехать вечерним автобусом  
на Коневу и искать ночлег там? Поставить в стороне у реки  
палатку? Но и в палатке, близко от "населенки", любая  
пьянь нарушит наше спокойствие. Таня, однако, была на-  
строена более благодушно. Она предложила пойти пока в  
интернат вдвоем, а, придя, взяла в коридоре веник, и через  
пятнадцать минут одна из комнат стала чистой, а угол за  
печкой, где мы разложили свои вещи, имел вид вполне  
обжитой. Заглянул к нам молодой человек, предложивший  
кипятку, другой показал колодец и где туалет, — выясни-  
лось, в общем, что обстановка здесь царит вполне благо-  
приятная. Правда, поздно вечером, проходя мимо шофер-  
ской комнаты, Тане пришлось содрогнуться от несшейся  
из-за дверей густой ругани.

Мы отлично выспались. Утром, не торопясь, позавтрака-  
ли. Собрались и еще задолго до прихода автобуса стояли на  
остановке. Было не слишком рано даже и по нашим город-

ским понятиям — около девяти. Меж тем не без любопытства смотрели мы, как не спеша пробуждалась жизнь в усадьбном селе совхоза. Парни, вероятно, механизаторы, с опухшими физиономиями, а некоторые уже чуть возбужденные опохмелкой, встречались по двое, по трое, толклись тут и там, курили, переговаривались, будто предстояло им идти на клубный пятачок убивать скучный вечер. Кучкой собирались и женщины с граблями и вилами в руках — ясно, что на сенокос. Подъехал трактор с прицепом, на борту которого была трафаретная надпись: "Перевозка людей запрещена". В него попрыгали девчонки в спецовочных куртках — видимо, тоже рабсила из города, потом потянулись туда же, к прицепу, и местные женщины. Наконец погрузились все, но тракторист, оставив мотор заведенным, куда-то исчез. Единственным, кто в этом полусонном мире жаждал деятельности, был резвый щенок, который с визгом и рычанием напрыгивал на флегматичного пса, разлегшегося поперек дороги. Щенок проявлял столько активности и изобретательности, нападая на пса со всех сторон, покусывая и дергая его где только можно, что тот не выдержал, постепенно разыгрался, и их возня превратилась в целый каскад прыжков, нападений, схваток и погонь. Зрелище было преуморительным, и, глядя на эти щенячьи забавы, не смеяться было трудно. Но мы не смеялись. Наш хохот был бы странен и дик, потому что человек двадцать, стоявших поблизости, наблюдали за собаками хотя и с интересом, но с отчужденностью, так как избыток их движений и шума противоречил настроению, в котором пребывали люди и все вокруг.

Наконец пришел автобус, и спустя, примерно, час мы были уже в Коневе и вели переговоры с дежурной "Дома приезжих". Мест, разумеется, не было. Главное же, она, дежурная женщина, только что добыла в магазине свежих лешей (почему мы и ждали ее прихода минут пятнадцать), и лешей теперь следовало почистить, так как они уже чуть припахивали (это выяснилось в совместных обсуждениях с уборщицей, на долю которой тоже досталось сколько-то



рыбы), и потому места будут после пяти, когда съедут. Мы оставили вещи тут же, в дежурке, и пошли к Онеге, на перевоз. Там довольно долго ждали мы лодку, которая была под другим берегом. Человек в ней на наши крики никак не реагировал, и это значило, что он будет стоять, пока не посадит к себе пассажиров там, а пустым сюда не поедет. Около нас появилось целое семейство — муж, жена, ребенок и с ними женщина лет шестидесяти, надо думать, мамаша мужчины. Затем, когда увидели мы, что в лодку кто-то сел, она двинулась под берегом против течения, и с места, значительно выше по реке, чем наше, стала идти поперек. Ее сильно сносило, особенно на стремнине, и к нам лодка причалила, уже подруливая чуть снизу. Лодочник был на руле, я сел на весла, а из всего семейства с нами поехала только пожилая женщина, которой передали четыре огромные сумки с припасами, в основном, с кирпичами ржаного хлеба, их было штук двадцать пять-тридцать. Женщина, здоровая, толстая, с красной физиономией — тип нахальной торговки, — цепко нас оглядела и заговорила со мной:

- Сапоги какие маленькие.
- Сорок второй — разве маленькие?
- Мне сыну такие надо. Продадут их?
- Продадут, наверно. Я давно покупал. Это не наши, арабские.

Без остановки:

- С бородой. Чего молодой-то бороду отрастил?
- А чтобы солидней быть. А то я очень несерьезный человек. Меня без бороды начальство не уважает. А с бородой — уважает.

Таня веселилась и поддакивала что-то насчет моей несерьезности. Лодочник на корме — болезненный, без зубов, обросший серой щетиной, в зимней ушанке — среди этой летней погоды — щерился в неподвижной улыбке. Баба уже выяснила, муж ли мы и жена, есть ли и у нас дети, почему только один, сказала, что восьмерых вырастила, что муж у нее безногий с войны, и все, что касалось нас, воспринимала будто "никак", сразу ж перескакивая на другое, а что каса-

лось ее — подавала с нажимом, как если бы где-то "качала права" и выкладывала доказательства. Переплыли через реку, дали возчику мелочи, теперь надо было подняться по склону, и женщина разохалась — тащить тяжело. Я перекинул через плечо авоськи с буханками, Таня взяла пару сумок, и мы пошли. Теперь женщина помягчала и принялась поносить своего мужика-инвалида, который не жилец, операцию делали, а выживет, не выживет — неизвестно. И что же с ним — спросила Таня, и в ответ мы услышали... Честное слово, как в сказке событие повторяется трижды в нескольких различных вариантах, так и нам пришлось три раза прослушать один и тот же рассказ с неизменной ситуацией: пьяный, мороз и несчастье. Сын бабки Маривьяны, лишившийся рук... Василий Терешин, вмерзший в дорогу... И теперь вот инвалид, напившийся пьяным и в мороз уснувший на сеновале... Отморозил органы живота — мочевой пузырь, почки, и теперь погибает...

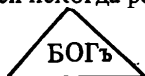
Бабка жила в соседней деревне, но ту бросает, купила дом здесь, в Авдотьино, и дом ее оказался как раз напротив часовни, к которой мы и направлялись. Я снял с плеча свою ношу и осторожными вопросами попытался выяснить то, что меня все время занимало: сколько съедает корова хлеба, какова получается прибыль, если надбавка за жирное молоко три-четыре копейки на литр, тогда как хлеб здесь стоит пятнадцать копеек за килограмм. Но мои попытки повести на эту тему разговор успеха не имели, баба просто-напросто, выражаясь жаргонно, проигнорировала меня, и болтала что-то свое, про дом, про то, как ей тяжело и нет здоровья. Она и спасибо нам не сказала — и не то забыв, не то испугавшись меня, а то и просто по причине бесполезности благодарить за то, что все равно уже сделано.

Авдотьянская часовня, притулившаяся на самом речном обрыве и заросшая по крыльцо бурьяном, выглядела плачевно. Крыльцо прогнило и разрушено, гниет и крыша. Повреждение часовни разрешено: это как бы не памятник архитектуры, он не охраняется государством, и человеческое дерьмо на полу часовни имеет вполне законные оправда-

ния. Стены часовни также вполне законно используются для антирелигиозной пропаганды, которая, судя по почерку, ведется школьниками, и так как антирелигиозное просвещение поставлено в школе лучше просвещения сексуального, то на стенах часовни происходит тематическое смешение:

ИСУС + НИНА. С. = ЛЮБОВЬ  
ИСУС ПЕС ДОХЛЫЙ  
ИСУС ПЕС  
ХРЫЧЬ  
БЛЯД – СУКИ + ХУЙ.

Я все это сфотографировал, но недостаток света помешал занять мне беспристрастное свидетельство того, что написано все это школьниками младших классов, так как печатные и письменные буквы путаются и совсем еще не выработаны, да и само отразившееся в этих надписях мышление по-детски наивно. То ли дело вырезанное ножом МАНЬКА—СУКА! Разумеется, тут работал подросток. А из священного треугольника смотрит еще одно слово — единственное, что осталось здесь от бывшей некогда росписи:



XXI

Что же дальше? А дальше прошли мы пять километров до Береговой Дубровы, где стоит девятиглавая церковь Николы Чудотворца, в которой ломаный пустой иконостас, остатки икон и деревянной резьбы, и обширное, оставшееся целым, "небо"... где рядом с Николой — холм из белого камня, как надмогильный курган, обозначающий место гибели второй здешней церкви. Но о Береговой Дуброве уже

написал я в самых первых страницах своих записок, когда начинал их, еще не зная, какими выйдут они, и начал я с Береговой Дубровы потому, что впечатление от разрушенной каменной церкви было самым свежим, — оно было последним из многих и многих — и еще потому, что было для нас ударом: разрушили всего-то несколько лет назад.

Остается еще, пожалуй, ради только педантичной полноты картины рассказать о нашей последней переправе через реку, когда вызванный с другого берега мужичишка-лодочник не доезжая до нас остановился, сказал, что гребет домой, потому что работает до шести, и ни на какие объяснения о том, что ночлег наш за рекой, что пусть уж он нас вызовет, никак не откликнулся, но когда сказал я ему, что заплачу за перевоз, как за услугу, быстро подплыл, отдал мне весла, а при высадке, получив горсть монет, растянул губы в наивно-хитрой, жалкой улыбке, — он радовался, что обманул нас удачно, потому что на самом деле он не до шести работал, а допоздна; рассказать еще надо и о последней ночевке в Коневе, о номере нашем, от которого не дали ключа, потому что перекошенная дверь не запиралась; о том, как дежурная водила нас задним ходом, через двор, из-за того, что вход с улицы был осажден тремя напившимися мужиками, которые ломились внутрь, и дежурная боялась, что они ворвутся; еще о том, как за тонкой перегородкой нудный голос повествовал длиннейшую и скучную историю на производственную тему и через слово вставлял мат и мат, и Таня сперва от этого была в ужасе, а потом ничего — привыкла и, как и я, весь мутный словесный поток перестала считать членораздельной речью; еще упомянуть о том, что на этот раз ощущение тревоги возникло у Тани, я решил, что не без оснований, почему взял капроновый шнур, привязал его к ручке двери одним концом, а другим — к свободной третьей кровати, и вот, когда мы уже засыпали, где-то после полуночи устройство сработало: по коридору протопали сапоги, мощный рывок передвинул пустую кровать к дверям, и человек потоптался, вернулся назад, его, пьяного, видимо, вразумили в дежурке, что его

постель на верхнем этаже, и скоро сапоги забухали по потолку, да так, что казалось, будто там назревает побоище; ну и конечно, нельзя оставить эти записки без упоминания об уборной. При всей неудобности темы, об этом стоит рассказать отдельно.

У меня навсегда останется чувство вины перед сыном, с которым в течение многих лет в подобные путешествия мы отправлялись вместе. Чувство вины это связано именно с его, так сказать, "туалетными переживаниями". Начались наши поездки, когда сын был в весьма нежном возрасте, и врожденная деликатность, а также внушенное ему уважение к гигиене стали причиной того, что уборные на вокзалах, автостанциях, в гостиницах и во дворах домов, где нам приходилось бывать, вызывали у него панический ужас. Ребенок готов был страдать весь день, лишь бы избежать посещения подобных мест. Не знаю, зафиксируются ли наши российские туалеты в его памяти как страшные переживания детства, но на моей родительской памяти тяжелым камнем лежит сознание того, что я проявлял жестокое насилие над чистой натурой ребенка, заставляя его отправляться туда, где быть унизительно и по выходе откуда некоторое время должен как бы привыкать, что ты — человек! носитель культуры! а не вымаранное в нечистотах дурно-пахнущее животное.

В дежурке коневского дома приезжих (мы там торчали долго, так как вечером нас тоже не сразу пустили в номер, была пересменка и в магазине были помидоры) висит на стене перечень обязательств коммунального отдела коневского исполкома. Среди обязательств, которые, разумеется, носят эпитет "социалистических", сказано об особом благодеянии, которое окажет "Дом приезжих" постояльцам, — там сказано о том, что персонал будет поддерживать санитарную чистоту.

У меня сложилось непоколебимое убеждение, что это невозможно: не те постояльцы и не тот персонал. А сама уборная — это настоящий шедевр канализаторской мысли! Кажется я где-то еще имел счастье посетить подобное поме-

шение, было это, может быть, в Тотье, а скорее, в Великом Устюге, от общественных заведений которого остались особенные воспоминания. Помещение можно себе представить в виде квадрата полтора метра на полтора, поделенного по середине, а одна из половин разделена еще раз, на две четвертушки квадрата. В одной из четвертушек человек и должен поместиться. Вторая, соседняя с ним четвертушка служит пролетом или сечением фанерного короба, уходящего вверх, там, наверху, короб заканчивается пресловутым нулем. У того, кто внизу, за спиной задняя стена, а с боков — боковая стенка и стенка короба, и человек в своей четвертушке зажат с трех сторон так, что должен заботиться прежде всего о том, как избежать соприкосновения со стенами, измазанными нечистотами на всех уровнях, куда способна достать человеческая рука. Внезапно сверху начинает что-то литься, срываться вниз. Это что-то стекает мимо по коробу со всеми характерными шумами, кажется, что на голову, и это почти что так, поскольку фанерный короб подгнил, а что до ароматов, то они стоят вокруг посетителя густым зловонным облаком.

Разумеется, удобно иметь туалет на втором этаже. Разумеется, если нет централизованной канализации, то короб — это до гениальности простое решение сантехнической проблемы. Ну, а если, решая ее, оказывается, что человека помещают в отвратительное положение, наверное, это не беда. Во-первых, все ли свое положение ощущают как отвратительное? Во-вторых, сколько уж, придумывая что-то ради человека, его же втоптывали в грязь. В конце концов, страдания возвышают. Хотите возвыситься? Сперва унижитесь: посетите уборную, где рядом с вашим лицом размещается короб...

Утром мы покинули Конево. На автобусной станции было десятка два ребят лет по семнадцати: они приезжали сюда поступать в училище механизаторов и возвращались теперь по домам. Мы смотрим на них уже без прежней тоски и горечи: спозаранку "под балдой", они — их лица, речи, походка — воспринимаются привычнее, чем неделю назад,

они часть быта, часть жизни, что нас окружает. Да и можно ли постоянно — как это? рефлексировать! — переживать, мучительно раздумывать, обсуждать, искать начала и концы? Нормальный человек не способен долго пребывать в антагонизме с реальностью, он становится ее частью, или он выходит из игры, подводит итоги и, так или иначе, изолируется от действительности. Возможно, что, уезжая из тех мест, мы подводили итоги и удачно выходили из игры как раз в тот момент, когда в силу нашей природной склонности к сочувствию и пониманию, готовы были уже примириться с характером тамошней жизни. Но мы уезжали.

И были три часа дороги до Плесецка. И было несколько часовен и церквей — деревянных, с главками или без главков, разрушающихся, перестроенных — через десять, приблизительно, километров, потом через двадцать пять от Конево, в селе Красное, и напротив, через Онегу, еще одна, и в деревне Дениславье, и еще где-то — не успели заметить место. Известна ли эта "дорога к прекрасному" — к Плесецку? Она была такова, будто незадолго до нас прошел по ней неприятель, и люди ушли из насиженных мест, побросав дома, и дома уже зарастают бурьяном, ветшают, рушатся. От деревни к деревне, от села к селу двигался наш небыстрый автобус, и чем ближе к Плесецку, тем чаще и гуще вставали перед глазами такие нам понятные, почти уже нами оправданные плоды разорения. Непонятна была лишь эта "эскалация" разрухи в непосредственной близости от Плесецка. Но когда мы въехали в Плесецк и увидели, что это весьма развитой поселок, уже городок, большая станция на железнодорожном пути Архангельск-Москва, стала понятной и эта закономерность: в Плесецк и через Плесецк уходят живые соки всего округа. Сюда они сливаются, и те, что тут же остаются, перебраживают на свой местный, цивилизованный лад, и получается самогон, отдающий сивухой, и уже по Плесецку бродят безвкусно одетые девки с вульгарными, наглыми, развращенными лицами, и уже в станционном скверике пьяная баба орет истошную матерщину — к ней приехал солдатик-сын на побывку, и мать —

продувная толстая женщина — на радостях перепилась, и сынок, бедненький беленький мальчик, СА на погонах, от нее убегает, скрывается от позора, а под каждым кустом распиивают, блюют, собирает старуха бутылки, и в столовой девка на раздаче откровенным желающим взором оглядывает тебя, — Плесецк безусловно растет, в нем промышленность, стройка, он — город с будущим, тут дорога, тут жизнь.

Не проводите дорогу в Каргополь!

## XXII

Прошел месяц, как вернулись мы из поездки. Не было дня, чтобы я не обратился к этим страницам. Уехал я с Онеги, — а как будто все еще там.

Когда я начинал свои записки, не думалось мне, что напишутся они такими, какие они теперь, близко от завершения. Сейчас, просматривая, перечитывая их, я говорю себе с укором, что неприятие, чуть ли не предвзятое, отрицание, чуть ли не поголовное, всюду, почти на любой странице, лежат темной тенью. Но вчитываясь и размышляя снова и снова, я говорю себе и другое: что не грешил же я против фактов, не выдумал здесь ничего, а мое восприятие их, этих фактов реальной действительности, — оно не менее важно, чем сами факты. Так вижу, так чувствую, так понимаю. Таков аз есмь. И для меня самого стало открытием, шагом в самосознании, что я, как оказалось, был настолько неспособен принимать ту, виденную нами жизнь. Я с тревогой вглядываюсь в себя: почему? И думаю о себе с безысходным тоскливым чувством. Одно утешает: бывало, я еще и не так о себе думал, а много хуже. Но только случалось уже не раз, как время, когда я был особенно недоволен собой, отрицал в себе все, до ненависти, — оказывалось временем



благотворным, временем переоценки ценностей, после которого наступал период подъема, развития, перемены к лучшему. И, может быть, думаю я, вовсе не так-то уж плохо для всех, для самой окружающей жизни, что люди, и я в их числе, еще сохраняют способность отрицать ее, не принимать, внутренне противостоять? Вопрос лишь в том, сколько нас противостоящих? Растворенные в этой жизни, можем ли мы со своим отрицанием стать для нее, для жизни, благотворящим стимулом? И вот тут-то, на этих вопросах я лишаюсь всякого оптимизма.

Из своего последнего путешествия вынес я чувство глубочайшей безнадежности. Узел проблем и противоречий, сокрытых в этой жизни, столь велик и запутан, что я не смог увидеть никакого способа распутать его, ни даже разрубить. С какой стороны ни подступишься — все безысходно. Мы как будто явственно видим то, от чего бы следовало избавиться, но любой возможный путь к избавлению готов оказаться началом нового тупика. Нам страшно наблюдать, как пустеют деревни. Но мы же знаем хорошо, что этот процесс протекал бы и в естественных условиях, мы же повторяем, как о недостижимом образце, что три-пять фермерских процентов населения Соединенных Штатов кормят свою страну, кормят чужих, да и нас подкармливают. При идеальной организации дела не надо бы у нас в деревнях людей и столько, сколько осталось сейчас. Так что же — пусть уходят "со земельшки родной"? И ведь тот же Брежнев приветствует сегодня школьников, которые по наущению руководства классами, школами заявляют, что остаются работать в деревне. Значит, не гонят с "земельшки"? Наоборот — приманивают к ней? И калачи дают хорошие. Сегодня будет уже неверным сказать, что в деревне бедно живут. Бедны старухи и старики, бедны те, кто толком не может и не умеет прикладывать руки, бедны, разумеется, и там, где их не к чему прикладывать. А механизаторы-парни, а доярки-девчонки зарабатывают действительно не меньше, часто и больше городских своих сверстников, имеющих куда более сложные профессии! В деревне холодильник,

телевизор, мотоцикл, сейчас, глядишь, и автомобиль — все может быть доступным. Что же, сделать денежный калач еще больше, еще вкуснее? Каков в этом смысл? Да никакого! И вот почему.

В том, какова сегодня экономика и социальная жизнь деревни, довольно мы уже винили прежнее насилие, проявленное к крестьянству в сравнительно далеком уже теперь прошлом; довольно винить сегодня лишь условия материальные, неправильную организацию, жесткое руководство и тому подобное. Скажем определенно: и прошлое, и продолжающиеся поныне ненормальные условия уже сыграли роль катастрофическую. Вся современная жизнь не только деревни, но во многом и города, страны в целом, основана на последствиях долгой цепи катастроф. В последствиях этих уже не экономика, не материальное, не "базис" оказались теперь наиболее страшны. *Сегодня главным их последствием, самым тяжелым и, может быть, неправильным стали люди.*

На последней странице записок вступаю в самую сложную и самую грустную сферу своих рассуждений, отражающих, как и все здесь, в написанном, то, пред чем в растерянности остановился мой разум во время недавней поездки.

Разумеется, легко сказать, что люди ведут жизнь тупую, бессмысленную, медленно душат себя постоянной пьянкой, отучены от инициативы и не хотят к ней пробуждаться. Но подобный взгляд со стороны, от нас, мнящих себя над этой массой большинства, имеет ли он смысл?

Вот слова одной простой пьющей женщины:

— А что же не пить? Одна и отрада в этом — выпить. Отдохнешь от всего.

Не этот ли взгляд изнутри, из этой массы, более ценен, не он ли реален и имеет смысл? Ведь что там ни проповедуй о разуме, прогрессе, творческом труде и сущности бытия, — все это звук пустой, если людям и без того хорошо.

Известен страшный эксперимент над крысами: их при-

учили нажимать на планку, включавшую ток, который через электроды вызывал в крысином мозгу чувство полового удовлетворения. Несчастные крысы — они были счастливы: нажимали и нажимали планочку, — "одна отрада в этом!" — и подыхали от изнеможения.

Так повысим же заработки! Больше предметов народного потребления! Построим дороги, сломаем избы, возведем пятиэтажные коробки, отреставрируем церкви и двинем толпы туристов к их стенам! Издадим миллионными тиражами "Трех мушкетеров", Есенина, Конан-Дойля, Чаковского, "Женщину в белом"! Установим под присмотром органов порядка живые очереди к Джоюконде! Разве все это не решит проблем? Но электроды, вживленные в мозг, — они так глубоко вросли в него! Так приятно нажимать на планку...

В нашем языковом обиходе появилось за последнее десятилетие много слов, начинающихся со вступления: "полу-". Таковыми, очень точными по смыслу, который определяется ими, стали слова "полуинтеллигент", "полуобразованный", "полукультура". Из старых, подобного же рода сочетаний сейчас особенно распространилось "полупьяный". Знакомый поэт\* написал поэму о современной жизни в некоем мелком населенном пункте, который удивительно удачно назван "Полугород". Сколько у нас полугородов повсюду!

И у меня нашлось слово: полународ.

И когда я вспоминаю полупьяный Каргополь; когда вернувшийся с Печоры Юра передает слова восьмидесятилетнего наставника староверов о том, что молодые только пьют, вешаются, стреляются, дерутся и убивают друг друга; когда мне брат на мой рассказ отвечает, зачем же я так далеко путешествовал, если он видел в Торжке то же самое, даже заметил среди толпы осовелых одного со значком де-

---

\* Теперь (1982 г.) трагедия позволяет назвать его: чудесный Саша Тихомиров, погибший под электричкой, — тоже, о Господи, из-за выпитой водки...

путата; когда в день приезда домой я сцепляюсь в хамской склоке с рабочим нашей булочной, — я думаю, что и я есть частица полународа и что Каргополь — мой родной город.

И кажется мне, что не уезжал я из Каргополя.

Но все же...

Люди все же не крысы. Потому что если крыса или ее соплеменницы не могут вырвать электроды из ее крысинаго мозга, и если эксперимент не крысы ставят над собой, а существа как будто порядка более высшего, то над людьми они же сами — те же люди экспериментируют, и сами люди могут проявить свою природную способность мыслить и осмысленно действовать, чтоб остановить свое же собственное медленное убийство. Только в этом надежда — что человек, люди, общество, огромная страна найдут в себе к этому силы.

У милых каргопольских девушек — есть ли эта надежда? У их ли не родившихся еще детей? У внуков и правнуков?

”Солнышко ты наше сугревное!..”

*Москва  
лето 1976 г.*



## **ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА**

*(Дополнение к биографиям В. Розанова и К. Леонтьева)*



*Посвящается Нине Карсов*

I

Два лица на обложке книги: Леонтьев и Розанов. Предваряя диалог двух писателей, художник силою воображения сделал то, что не сделала жизнь: он свел их друг с другом. В точной соразмерности лиц и фигур — молодой еще Леонтьев, он гордо глядит куда-то поверх приопустившего голову задумчивого Розанова; и вдруг... Щемящее напоминание: майский день... дорога... старые деревья...

Но сначала немного об этой книге\*. Она необычна. В 1903 году В. Розанов опубликовал в журнале "Русский Вестник" письма, которые писал ему К. Леонтьев в свой последний, предсмертный год, то есть в 1891-м. Эту публикацию В. Розанов снабдил вступлением, послесловием и интереснейшими примечаниями — истинно "розановскими".

---

\* Константин Леонтьев. Письма к Василию Розанову. Вступление, комментарии и послесловие В. В. Розанова. Вступительная статья Б. А. Филипова. Обложка Андрея Краузе. Изд. "Nina Karsov", Лондон, 1981.



Юрий Иваск во вступительной статье к "Избранному" В. Розанова в свое время заметил: "А свой стиль он создал... не столько в статьях, сколько в примечаниях, которые нередко заполняли добрую половину страницы". Нельзя не согласиться с этим. Что же касается самой переписки Леонтьева и Розанова, ее именно стиля и духа, то вот две автохарактеристики. К. Леонтьев:

"Видите, как вы ошиблись, предполагая, что я тягочусь писать письма. Право, это гораздо приятнее, чем писать статью для печати. Пишешь письма к единомышленнику или близкому, с убеждением, что возбудишь или сочувствие или живое возражение; пишешь статью для публики, — знаешь, что встретишь или удивленное непонимание, или насмешки над "оригинальностью" и "чужацеством" своим, или обвинения в "парадоксальности", или чаще всего пренебрежительное молчание...

Прибавьте к этому 60 лет, лень, недуги, полнейшую обеспеченность спокойной и уединенной жизни, а главное, постоянную боязнь согрешить на краю могилы излишними волнениями литературного самолюбия, — и вы поймете, почему гораздо приятнее писать Фуделю, вам и некоторым другим людям, чем для печати: *как-то нравственно чище, безгрешнее, бескорыстнее*".

На это следует взволнованное примечание В. Розанова:

"Да, это все истинно и чисто! Переписка, письма — золотая часть литературы. Дай Бог этой форме литературы воскреснуть в будущем".

И вот эта "форма литературы" воскресает перед читателем, переизданная спустя девяносто лет после того, как два писателя вели свою переписку...

Книге предпослана статья Б. Филиппова "Непонятый". Это — о Леонтьеве. Но заключительные страницы статьи посвящены Розанову. Мне кажется, что уже в этом вступлении возникает как бы в отраженном свете тот стилистический строй книги, который определяется беглостью, "заметочностью" мыслей, аналогий и сопоставлений. Лично меня, у кого, должен прямо признаться, нет серьезного

знания философии Леонтьева (все — обрывочно, чаще из вторых рук, через критику и ссылки), предисловие Б. Филиппова подкупило тем, что в нем нет ни апологии, ни отрицания — таких привычных (и, добавлю, часто таких неприятных) в сегодняшней публицистике, — а есть все тот же ряд "примечаний" к философии и, если можно так сказать, к личности Леонтьева. Они даны в форме вопросов, над которыми Б. Филиппов размышляет, начиная нередко ответ на свой же вопрос с отрицания: "Кто же Леонтьев?.. Консерватор, реакционер? Но... Ницшеанец до Ницше? Но... Христианин? Но... Славянофил? Но... Чистый эстет?.. О, нет!"

Схожим образом говорится и о Розанове: "Что же — правоверный монархист Розанов?.. Его "руссизм"?.. Пессимизм? Но..." И в самом деле, читая Розанова, видишь, что весь он — вопросы, вопросы, вопросы, а следом за ними — краткие и часто столь безысходные "но... но... нет...". Леонтьев более определен. Он оставляет это нам — говорить свои "но" и "нет".

Вообще же, есть в этом "сборнике примечаний" (по существу, сами письма Леонтьева — примечания к написанному Розановым; леонтьевские примечания в свою очередь комментируются примечаниями розановскими) — есть на этих немногих страницах нечто, придающее им особое качество, которое ценнее многих иных достоинств литературы как таковой. Это качество — почти полное отсутствие намеренной, заранее заданной и обдуманной фиксации мысли и фиксации чувств. Все в этих беглых строках живет и бьется в согласии — несогласии, приятии — отрицании, и то вдруг блещет искрою Божьей, а вдруг — удивляет банальностью. В такого рода чтении возникает особое чувство вовлеченности: ты — третий, ты рядом с теми, кто вел случайный как будто диалог почти столетие назад. Возникает твой монолог, обращенный к ним. Ты знаешь то, чего не знали они; ты видишь их беспомощность в попытках провидеть — и видишь их пророческую правоту; и осознаешь при этом, как легко быть мудрым, глядя назад, следя из се-

годняшней яви за мыслью, рождавшейся так давно — и как будто теперь, при тебе...

Эта маленькая книжка не дает какого-либо законченного представления о философии Леонтьева, не показывает она и достаточно зримо Розанова-писателя. Она, как уже говорилось, — "примечание" к ним обоим. Но она и другое. В эти наши времена разгульных пиршеств поверхностной, бездоказательной публицистики, в которой самоуверенность тем большая, чем меньше знание и культура, и потому любая мысль — не мысль, а домысел, книжка эта — урок и пример. Пример мышления совсем иного. Не современного...

Книгу я получил из рук издательницы. Нина Карсов и Семен Юрьевич Шехтер преподнесли мне ее во время нашей беседы за чашкой кофе где-то в центре Лондона. Я взглянул на обложку и воскликнул:

— Поразительно! Тут Леонтьев и Розанов тоже вместе!

— Да, — ответила Нина. — Встретились на этой обложке. Впервые. Ведь они никогда не встречались.

— Впервые? Пожалуй, что нет... Они встретились раньше.

## II

Лет десять с лишним тому назад ночевал я в Вильнюсе у своего знакомого — пожилого интеллигента, чьи привязанности в литературе, искусстве и философии были тесно связаны с периодом "серебряного века". Уже поздно вечером дал он мне ветхую брошюрку — "Письма Розанова к Э. Голлербаху". Лежа в теплой постели с этой брошюрой в руках, я испытывал жуткий озноб: зимою 1918 года в Загорске голодал и замерзал Василий Розанов, и его предсмертные строки слабеющим шепотом шелестели в ушах: "Проклятая

Россия, благословенная Россия. Но благословенна именно на конце. Конец, конец, именно конец. Что делать: гнило, гнило, гнило. Нет зерна — пусто, вонь; нет Родины, пуста она. Зачеркнуто небытие. *Не* верь, о, *не* верь небытию, и — *никогда*, не верь. Верь именно в бытие, только в *бытие*, в *одно бытие*.

...

Боже, Боже... Какие тайны. Какая Судьба.

Какое утешение.

А я-то скорблю, как в *могиле*. А эта могила есть *мое Воскресение*".

Не старый еще писатель вскоре и умер там, в Сергиевом Посаде.

"Письма к Э. Голлербаху" были первым, что я узнал о Розанове. Тот же мой друг подарил мне потом большой сборник Розанова "Среди художников" (но позже, уже покидая Россию, я попросил своего дорогого дарителя взять книгу обратно). В начале мая 1977 года он гостил у нас в Москве. Мы поехали в Загорск: мой друг хотел побывать на могиле Розанова.

Пришли со станции в Лавру. Нам казалось естественным, что, если умер писатель в Загорске, то захоронение его должно быть связано с Лаврой. Как ни относился Розанов к церкви, умер он с Богом, а в те страшные времена, в январе 1919 года, кто и мог позаботиться об усопшем, как не церковь. И Сергиев Посад являл тогда собою, наверно, все еще нечто единое с Лаврой. Да ведь и сейчас, что там в Загорске ни делают — обувь, пуговицы, детские игрушки, — остается то же: Загорск — это Лавра.

Мы обошли сначала всю Лавру, ища, где могла бы находиться могила писателя, понимая при этом, что его не обязательно должны были похоронить внутри стен. Не видя здесь ни кладбища, ни какого-либо и небольшого числа расположенных рядом могил, мы решили справиться у обитателей Лавры. Первое, что мы сделали, было довольно глупым: мы обратились к белокрысому пареньку в рясе, который подметал и поливал из шланга дорожки. Наверно, нам пред-

ставилось, что любой, имеющий отношение к Лавре, должен знать, где тут могила Розанова. И как-то не подумалось, что такой вот парень, смотревший на нас наивными и в то же время чуть напряженными голубыми глазами, может и не быть семинаристом, за какого мы его приняли, а обыкновенным работником, который весьма далек от предмета наших поисков. Парень, кажется, и не понял, о чем и о ком идет речь. "Это там спросите, они знают", — кивнул он в сторону зданий, расположенных в отдалении, в стороне от входных ворот. Мы направились туда. Кто-то в черной же, не в пыльной, затрапезной, а нарядной черной рясе шел нам навстречу. Вид этого человека допускал, что он один из учащих в академии: он был молод, с небольшой аккуратной русой бородкой, в руке привычно покоилась книга. Наше приветствие, заставившее его остановиться, он принял с заметной досадой, — вероятно, досужие посетители Лавры любят докучать ее обитателям пустыми расспросами, и он готов был уже услышать их. Возможно, и наш вопрос о могиле отнес он к разряду праздных, потому что, едва лишь выслушав нас, покачал головой, сказал, что ничего об этом не знает, и пошел дальше. А может быть, существовала боязнь, или были даже и запреты вступать в общение с мирскими: вдруг власти обвинят в религиозной пропаганде?..

Мы подошли к зданиям еще ближе, и, глядя через газоны перед их фасадами, я думал, не попытаться ли прямо войти в подъезд и уж там, если это будет одним из зданий академии, поговорить с людьми сведущими. Но как раз двое — в клобуках, с поблескивавшими на груди крестами и с какими-то обыденными папками, зажатыми под мышкой, — вышли из здания и двинулись по дорожке, у начала которой мы и находились. Я подумал, что канцелярские папки и оживленный разговор явно не божественного характера, который вели подходившие, в какой-то степени оправдают бестактность моего внезапного обращения к ним, и, поздоровавшись и начав, разумеется, с извинений, сказал, что обошли все сами и уже кое-кого пытались расспрашивать, —

не помогут ли они в наших поисках? Ответ был, хотя и малообнадёживающим, но указавшим, как выяснилось вскоре, верный путь:

— В пределах Лавры, внутри стен, никаких подобного рода захоронений нет. Обратитесь в музей, может быть, там что-то известно.

Отправились в музей. И некоторое время, все повторяя одно и то же о Розанове, которого никто, конечно, не знал, мы шли по цепочке людей — от кассирши, которая направила нас в научную часть, до дирекции, где внимательная и несколько отрешенного, будто усталого вида женщина оказалась, наконец, той, кому не пришлось объяснять почти ничего. Я только представил своего друга из Литвы как большого поклонника и знатока Розанова и добавил, что приехал он в Загорск для того именно, чтобы поклониться праху писателя. Наша собеседница сказала, что недавно еще была жива Татьяна Васильевна — дочь Розанова, жившая до последних своих дней здесь же, в Загорске. О могиле Розанова должна наверное знать подруга дочери писателя — старушка, поговорить с которой и обещала нам сотрудница музея. Она записала мой адрес и сказала, что если узнает что-либо, напишет мне.

Признаться, не очень я верил, что получу ответ: в обычае администраторов забывать обещанное... Но оказалось, я зря сомневался, и думаю теперь, что говорившая с нами сотрудница музея принадлежит к породе истинных служителей культуры, кому важна не должность, а важна сама культура и их музейное дело. Уже на следующий день после нашего визита она выслала мне следующее письмо:

”Сообщаю Вам сведения о В. В. Розанове со слов бывшей подруги его дочери Т. В. Розановой, умершей в 1975 году. Умер В. В. Розанов 23 января (по ст. ст.) 1919 г. Похоронен в Черниговском скиту (2—3 км. от Загорска) в центре братского кладбища рядом с писателем Константином Леонтьевым. Проехать туда: от автовокзала г. Загорска — автобус на Лозу или Смену”.

Письмо это я переслал своему другу в Вильнюс, но в течение лета, а потом и осени ни он не приезжал в Москву, ни я не мог найти дня, чтобы выбраться в Загорск. Только "на ноябрьские", уже не дожидаясь его приезда, мы с женой и еще с несколькими знакомыми отправились туда снова.

С электрички сошли уже близко к полудню. Отправились к Лавре, наблюдая по пути привычную нам "праздничную" картину небольшого русского города, — привычную потому, что по "красным" праздникам мы всегда бежали из Москвы куда-нибудь поглубже — и в Переславль, и в Юрьев, и в Зарайск... На подступах к Лавре стояли автолавки и столы с несколькими ящиками рядом, где шла торговля вафлями и печеньем, люди, неся цветы из бумаги и проволоки, флажок или шарик, шли посредине улицы, и все пространство оглашалось одной из тех бесчисленных советских песен, которые и создаются как раз для этих хрипло ревущих динамиков, что гремят и орут на праздничных площадях. Демонстрация окончилась, и мы уже видели не прилив, а так сказать, отлив народного торжества, еще не стихшего совсем и не ушедшего еще к обеду по домам, где и будет настоящее веселье — с водкой, закуской и тоже с разными песнями... Кажется, все и торопились разойтись поскорее — помимо прочего еще и потому, что было необычайно холодно: дул сильнейший ветер и совсем по-зимнему несло поземку. Стали быстро замерзать и мы. Тут в ответ на наши распросы об автобусах на Лозу и Смену милиционер сказал, что общественный транспорт в городе сейчас не работает, и когда пустят автобусы, — неизвестно, может быть, к вечеру. Походив лишь недолго в Лавре, мы вернулись на станцию и поехали в Москву.

Наступил 1978 год, прошла и зима (а зимой бродить по сугробам кладбища и среди занесенных надгробий разыскивать могилу выглядело безнадежным делом), и мы снова задумались о поездке в Загорск уже весной. Как оказалось, это была последняя наша весна в России... На 1 мая собрались поехать вместе с друзьями, у которых была машина, но что-то не получилось, и через неделю, на праздник Победы, мы с женой поехали вдвоем.

День был удивительно хорош — тепел и по-майски свеж, солнце светило как новое, земля успела уже просохнуть от луж и не набралась еще пыли, деревья сквозили сизым туманом, и люди тоже будто на весенний лад настроили свои обыкновенные души и были приветливы и внимательны: указали нам наш автобус, а в автобусе, до предела заполненном, переговариваясь с нами, с водителем и друг с другом, уяснили, где это Черниговский скит (никто не знал; догадалась одна из женщин, что мы имеем в виду), и вот сказали, где сойти и куда направиться с остановки.

Сошли за городом, но в месте обжитом, тут был, по-видимому, небольшой поселок. Прошли мимо домов, увидели стену с воротами, вошли и оказались внутри двора, судя по всему, монастырского: справа тянулось невысокое длинное здание, явно выстроенное под кельи, а впереди, чуть дальше перед нами, стоял большой приземистый собор. Конечно, все это имело вид, как говорят в таких случаях, "не действующий", то есть и здание уже давно не служило жильем для монахов, и в церкви давно не молились. Тут царило запустение, столь привычное и понятное тем из нас, кто много ездил "по святым местам" — по монастырям и старым городам, знакомясь с "памятниками", как сии места официально прозваны. Тут запустение не было полным, тут не дошло до разрушения крыш, наличников, а то и стен; как-то все эти постройки — и бытовые корпуса и храм — использовались, они не стояли брошенные и пустые, и по-



тому говорили прежде всего о запущенности и разрухе того, чему изначально их предназначали, — быть местом уединения и молитв. Это и был, как могли мы догадаться, Черниговский скит.

Какая сейчас шла здесь жизнь, мы еще не поняли, однако странные фигуры появлялись то в окне, то у подъезда, не вызывая еще у нас ни интереса, ни внимания, так как мы больше смотрели на землю, ища взглядом, какое тут место могло быть кладбищенским. Прошли к церкви, и около нее увидели несколько вросших в землю отдельных плит — истертых и старых, какие обычно бывают под стенами храмов, где хоронят местных служителей церкви или знатных граждан. Плиты были солидны и тяжелы, относились они не ко времени послереволюционному, а к годам восьмидесятым — девяностым прошлого века. Все это никак не казалось похожим на то, чем должно было быть, по нашим понятиям, братское кладбище, на котором хоронили многих и многих почивших в Бозе иноков.

У дальнего угла церкви грелась под солнцем, сидя на табуретке, пожилая женщина в шерстяном платке и в заношенном старом пальто, застегнутом под горло. У нее был вид сторожихи. Подошли, поздоровались и поздравили с праздником, спросили о кладбище. Самого названия "братское" она как-то не понимала, не знала, но сказала, что да, монастырское старое кладбище есть, только там давно не хоронят. Она указала нам какой-то проход сзади церкви и толково объяснила, как выйти на дорогу, ведущую к кладбищу. Дойти надо было, сказала она, до фабрики и свернуть к ней, — там, за фабрикой, и кладбище.

Мы вышли из скита. Небольшую часть пути снаружи стен прошли по тропинке, которая шагов через сто привела к дороге — довольно широкой, проезжей, хотя и без асфальта, однако и не грунтовой, а покрытой не то щебенкой, хорошо утрамбованной транспортом, не то камнем, но не булыжником — плоским каким-то камнем, который здесь розовым, там серовато-зеленым, а кой-где и темным совсем отражал

полированной гранью блестящие игры весеннего яркого солнца...

— Смотри! — вдруг ахнул кто-то из нас. Остановились, пораженные, наклонились к дороге... На нас смотрело с осколка:

## БОГЪ

И тут же бросилось в глаза с другого куска, чуть поодаль:

## ДУША

Мы попирали ногами Бога и чьи-то души. Так это почувствовалось в тот миг. Тянуло сойти с дороги, оставить ее. Пусть другие, кто хочет и может, ходят и ездят по ней, а мы не хотим. Потом это чувство в нас притупилось, уступило место рассудку, — как оно и бывает с первым чувством, самым непосредственным, чистым и верным... Что тут поделывать, не идти ж стороною по мокрой глине, все тут ходят, все попирают эти осколки, и то, что на них слова, никто, наверное, давно не замечает, для здешних это привычно. Но нас дорога, замощенная кусками надмогильных плит и памятников, потрясла, и мы, продолжая идти по ней, шли, замедлив шаг и неосознанно стараясь не попасть ступней туда, где были врезанные в камень буквы. ДУША нам встретила еще раз. Попадались чаще всего отдельные слоги и сочетания двух-трех цифр, относящихся к датам смертей и рождений. По этим осколкам писем, как по разбитому и кусками рассыпанному вдоль дороги некому новейшему, времен советских Розеттскому камню, мы пытались читать исчезнувшее... Увиденное нами относилось, судя по всему, ко времени последней четверти прошлого — первых полутора десятилетий нашего века. Судить об этом мы могли, конечно, лишь на основе предположений, например, таких: осколок буквы, пробел и затем "188..." с последней восьмеркой тоже обколотой, говорил о восьмидесятих годах; тогда как фрагмент "16 фе..." означал, конечно, дату, а не год, и т. п. Не могу сказать, что мы всерьез и долго занима-

лись чтением дороги — мы просто медленно шли и смотрели, смотрели под ноги... — и потому не буду утверждать с уверенностью, что наша хронология верна. (Когда был основан Черниговский скит? Есть ли где-то в истории русских монастырей о нем сведения? Об этом мы не знали, не знаю я этого и сейчас.)

До того, как вышли мы на дорогу, был в нас какой-то внутренний подъем: вот, ищем то, о чем никто не знает, увидим могилы Розанова и Леонтьева. Но теперь это бодрое чувство исчезло. И к фабрике мы подошли уже с настроением упавшим, муторным. Кубоватое здание, белые стены, окна, прорезанные невпопад — не в ряд и неравномерно, — а, да это же церковь! Ну да, конечно же, кладбищенская церковь, которую используют под производство, как же мы это так сплеховали — сколько подобных церквей навидались, и вот — не узнали привычной картины!..

Вокруг был забор с воротами и проходной. Все оказалось настежь, мы, оглядевшись, вошли во двор, приблизились к зданию. Сквозь окна виделись продукция и заготовки: это была картонажная фабрика, и делали на ней коробки, обувные или под игрушки, что-нибудь, наверное, для местных производств Загорска. Миновали здание, прошли за него еще дальше, вглубь от ворот. Тут начался небольшой уклон, и на нем, пониже, было еще строение. От его приоткрытых дверей нас стала нервно облаивать черная псина. Нам оставалось идти к ней: внутри барачного этого домика были, как мы понимали, какие-то люди, и, убедив собаку в безопасности своих намерений, мы вошли. Там, в глубине длинного и почти пустого помещения сидели за столиком, придвинутом под окно и к стене, три мужика и мирно-празднично выпивали. Обменялись приветствиями, поздравлениями, нас настороженно спросили, как мы вошли сюда, на фабрику. Мы ответили, что ворота открыты, и это им не очень понравилось. Но мы уже перешли к изложению цели своего прихода, и мужики успокоились: пришло не начальство, не какой-нибудь райком-исполком, проверять, как проходит дежурство в день политического праздника — они

все или кто-то из них оставлены, конечно, тут дежурить, ведь, как известно, "могут быть провокации", — а успокоившись, с доброжелательностью полной стали нам объяснять. Да, тут картонажная фабрика. Территория, как идет вниз, так и переходит в кладбище. Тут еще слева изба и при ней огород — это один из сотрудников фабрики там живет, и вот все пространство вниз и влево за избой — это и есть кладбище. "А идемте", — сказал один из них и поднялся.

Обогнули угол и прошли под уклон еще метров сорок, миновав бревенчатый дом и приусадебный заборчик. С этой, нижней, стороны фабричная площадь ничем уже не ограждалась. Перед нами открылось пространство, с которого веяло свежестью, влагой и чем-то необъяснимым — грустным, тихим, но не согласным с тем, что вызывает в нас обычно вид старого русского кладбища.

Его и не было. Темные, чуть просветленные сквозившей через ветви их небесной синевой, стояли старые деревья, обозначая собою кромку спокойной не очень широкой воды. Меж нами и деревьями тянулась чуть всхолмленная земля, еще влажная и покрытая прошлого года бурой травой. Вода поросла сухим тростником, на той стороне, левее, как раз напротив монастырских стен, откуда мы пришли, стояли тоже стены с башнями и въездными воротами, поверх стен теснились крыши различных сооружений, и отсюда легко было видеть солдат, — тот, второй монастырь был отдан воинской части. Пели птицы. Было спокойно, тепло и мирно на этом небольшом пространстве — меж фабрикой, жилым скитом и лагерьем военных. И если б не сказали нам о кладбище — не догадались бы никогда, что не болотные кочки холмятся тут, а могилы. И если бы не знали мы о двух писателях, о двух философах, чьи имена живут сегодня, — не знали если бы о том, что здесь их похоронили — в центре братского кладбища, — не стали бы мы вглядываться в эту землю, пытаясь что-то угадать, как будто вопрошая: где же? как же? почему? за что?..

Наш провожатый рассказал, что вывозили памятники с кладбища на бут — то есть дробили в мелкий камень и за-

сыпали им фундаменты. Когда? — А давно. — А дорога? — А это к фабрике проложили, это недавно.

Один монолит — черный мощный гранит или мрамор — остался: видно, когда подрывали, упал, завалился в яму, и так и лежал там, где-то на метр ниже поверхности. Лежал он надписями вниз. Он был как тот таинственный параллелепипед, что вечно манит к себе людей, из фильма Кубрика "Одиссея — 2001-й": символ познания — символ непознаваемого.

Побродили вдоль воды. Возможно, был это примонастырский пруд. Разводили зеркальных карпов. Шумела перед надгробьями листва. Колокола звонили — и рядом, в скиту, и издали неслось — от ста церквей Сергиева Посада.

К. Леонтьев:

3 сент. 1891. Троицкий посад

Дорогой и многоуважаемый Василий Васильевич. Наконец я кое-как добрался до Троицы-Сергиева и остаюсь здесь по крайней мере до лета; а вернее, что навсегда.

18 окт. 1891. Серг. пос.,  
Новая лаврская гостиница

Нет, еще все тот же припев:

Надо нам видеться.

Постарайтесь приехать...

Умру, — тогда скажете: "Ах! Зачем я его не послушал и к нему не съездил"!

В. Розанов:

Письмо это было последним. Леонтьев умер 24 дня спустя после написания последнего из здесь приведенных писем (12 ноября 1891 года)... Дурная погода, встретившая его у Троице-Сергия, на которую он уже жалуется в последних из этих писем, не заставила его поберечься. Он схватил

простуду: развилось воспаление легких, болезнь не смертельная в молодости, но в возрасте 60 лет роковая...

Ю. Иваск:

Из голодного Петербурга Розановы переехали, чтобы подкормиться. Но и там было голодно. Василию Васильевичу особенно хотелось сметанки, творожку. Хотелось и "курева". Окурки он подбирал на улице. Он тяжело заболел. У него был склероз: "...лицо — кирпич и смерть ледяная, его все кутали и не могли согреть" (из письма А. М. Ремизова, 31 августа 1952 года). Около него постоянно находился его друг, загадочный отец Павел Флоренский. Перед смертью Василий Васильевич четыре раза причащался, один раз его соборовали, над ним три раза читали отходную, на него надели шапочку прп. Сергия Радонежского. Умер он без мучений, 23-го января 1919 года, в час дня.

...

Эту надгробную надпись составил А. М. Ремизов ("*Розанова письма*", 1923.):

У Троице-Сергия под Москвой лежит Василий Васильевич Розанов, скончавший срок своей жизни — странствия по земле...

Могила же его, вероятно, затерялась.

Мы можем сказать теперь, что в 1923 году, когда Ремизов писал о Розанове, и в 1955 году, когда писал Иваск, могила эта еще, надо думать, "не затерялась". Но верно, что сейчас она затеряна вместе с могилой Леонтьева в пределах того небольшого пространства, которое мы отыскиали в мае 1978 года...

Возвращались мы той же Дорогой Надгробий. Непроизвольно, чувствуя всю нелепость своих надежд, искали на камнях: Кон... Лео... Вас... Роз... Но читали снова и снова: ДУША... ДУША... БОГЪ...

И еще стояли мы на остановке, дожидаясь автобуса. Пе-

ред нами краснела монастырская стена — не высокая, не крепостная старая стена с громадными башнями, как в древних монастырях, а новых уже времен, служившая лишь оградой, с декоративными, в стиле "русской готики", башенками по углам. И шли на фоне стены, как в фантастическом видении, фигуры одна ужасней другой — выражением лиц, уродством, кривою походкой.

В Черниговском скиту, мы поняли наконец, живут тяжелые инвалиды. Их силуэты мы видели в окнах. И это они работают на картонажной фабрике. Кого-то из них выпускают, наверно, на праздник наружу, вот они и идут вдоль стен, подходят к остановке, ждут кого-то, улыбаются, косноязычно говорят...

Подошел автобус.

*Израиль,  
лето 1984.*

## СОДЕРЖАНИЕ

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Посмертная хроника    | 5   |
| Каргопольские маковки | 39  |
| Запредельная встреча  | 173 |



